

Михаил Волконский

Брат герцога



Михаил Волконский

Брат герцога

«Public Domain»

1895

Волконский М. Н.

Брат герцога / М. Н. Волконский — «Public Domain», 1895

«К церкви Сампсония Странноприимца, что на Выборгской стороне, подъехала тяжелая, в шесть стекол, запряженная четверкою цугом карета с гербами рода Олуньевых на дверцах. Был исключительно теплый, как нарочно выдавшийся, августовский вечер, какие редко бывают в сыром Петербурге в это время года. Косые лучи заходящего солнца, словно жалея расстаться с потухавшим теплым днем, обдавали красным светом все широкое пространство, далеко видимое кругом...»

Содержание

Часть первая	5
I. Странная свадьба	5
II. Кто была невеста	7
III. Лавровый венок	9
IV. Баронесса Шенберг	12
V. Тетка и племянница	15
VI. Придумали	17
VII. В аустерии	20
VIII. Слово и дело	22
IX. Счастливый человек	25
X. Два брата	28
XI. Оправдания герцога	31
XII. Семейное дело	33
XIII. Tu, felix austria, nube[3]	35
XIV. Идиллия	38
XV. Указ тайной канцелярии	41
XVI. Княгиня Чарыкова-Ордынская	43
XVII. Князь Чарыков-Ордынский	45
XVIII. Душа проснулась	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Михаил Волконский

Брат герцога

Часть первая

І. Странная свадьба

К церкви Сампсония Странноприимца, что на Выборгской стороне, подъехала тяжелая, в шесть стекол, запряженная четверкою цугом карета с гербами рода Олуньевых на дверцах.

Был исключительно теплый, как нарочно выдавшийся, августовский вечер, какие редко бывают в сыром Петербурге в это время года. Косые лучи заходящего солнца, словно жалея расстаться с потухавшим теплым днем, обдавали красным светом все широкое пространство, далеко видное кругом.

Церковь стояла на окраине города, почти не заселенной, с бесконечными пустырями, среди которых только изредка попадались маленькие мазанки. Тем страннее было видеть в этой чуждой всякой роскоши местности богатую карету, остановившуюся у церкви.

Да и церковь была, по тогдашним временам, совсем особенная, окруженная надмогильными крестами, простыми, сосновыми, хоть вокруг нее и не было отведено участка под постоянное кладбище. Эти кресты стояли на могилах, подойти к которым боялись даже самые смелые.

Могила принадлежала умершим страшною смертью на эшафоте или в застенке. Тут хоронили казненных преступников. Были тут еще свежие могилы Волинского, Еропкина и Хрущева, сложивших около двух месяцев тому назад свои головы на плахе.

Из кареты вышла, поддерживаемая двумя гайдуками, откинувшими подножку, полная видная барыня с властным, резким лицом, по чертам которого сразу становился ясен ее характер. Орлиный нос, выдающийся подбородок, густые, почти сросшиеся брови и черные, быстрые, не по годам живые глаза обличали в ней женщину своевольную, привыкшую к подчинению себе окружающих.

За ней гайдуки почти вынули и внесли на руках в церковь молодую девушку в белом подвенечном платье, с фатою на голове. Она была бледна и, казалось, не сознавала того, что происходило вокруг.

Когда они вошли в церковь, стройный хор, поместившийся на клиросе, в парадных кафтанах певчих, видимо, не принадлежавших церкви, но нанятых за большие деньги, запел встречу.

Церковь была совсем пуста. Ни гостей, ни посторонних любопытных тут не было. Гайдуки, стоявшие у растворенных дверей церкви, не пускали никого, да и никого почти не было в это время в этой глухой, забытой части Петербурга.

Невесту подвели к разостланному ковру, и от группы стоявших у стенки мужчин отделился один и стал возле нее.

Это был молодой еще человек. Его высокий лоб, прекрасные темные глаза, правильный нос и тонкие, красиво очерченные губы, слегка улыбавшиеся под усами, казалось, не могли принадлежать человеку происхождения низкого. Он держался прямо, осанисто, руки его были белы, и ноги, несмотря на стоптанные башмаки с откровенными заплатами, показывали в нем породистость. Но одет он был очень странно. Он был простоволос – без парика, что, впрочем, служило ему в пользу. Его темные густые волосы красиво вились и падали почти до плеч, по старому, бывшему еще при Петре в моде обыкновению. Кафтан на нем тоже казался давно

вышедшим из моды. Этот потертый по швам, с не везде целыми пуговицами кафтан лоснился и выцвел. Галун на камзоле почернел и протерся. Чулки были заштопаны, и на правом колене ясно виднелась заплата.

Но, несмотря на свой наряд, а может быть, именно вследствие него, он как-то подчеркнуто гордо подошел и стал на свое место, словно хотел показать всем, что нисколько не стыдится своих заплат и своего потертого кафтана. Подойдя, он оглядел невесту очень внимательно с ног до головы, как человек, который первый раз в жизни видит ее.

Она была очень хороша. Вся ее прелесть заключалась в необыкновенной миловидности и какой-то наивной моложавости чуть ли не детского, невинного личика. Она стояла с опущенными ресницами, бледная, в полубморочном состоянии. Ее поддерживали сзади под руки.

Жених оглядел ее, отвернулся, но его глаза опять невольно скозились в ее сторону.

Священник быстро, скороговоркою начал обряд венчания.

Все казались как-то сконфуженными, боявшимися взглянуть в глаза друг другу и торопились; только привезшая невесту барыня вошла и стала с гордым сознанием правоты и необходимости того, что происходило теперь, да жених не казался смущенным, потому что, видимо, ничто в жизни не могло смутить его. Было что-то как будто наглое и дерзкое в его походке и выражении, когда он, отделившись от остальных, подошел к коврику, но при первом же взгляде его на невесту это выражение исчезло и сменилось ровною, спокойною задумчивостью. Рука его дрогнула, когда, меняясь кольцами, он коснулся ее тонких, почти прозрачных пальцев; а она как будто и не чувствовала этого прикосновения.

Священник торопился, но венчание, казалось, тянулось все-таки целую вечность. Наконец он взял венчающихся за руки и повел их к аналою. У аналая, как следует, лежал розовый шелковый плат, и они вступили на него.

Еще беспокойнее, еще торопливее заговорил священник, и еще ниже опустилась головка той, которая стояла теперь в подвенечном платье перед аналоем.

В этом движении головы единственно промелькнул проблеск сознания в ней. Во всем остальном она была безучастна. Она вовсе не ответила на вопрос. Впрочем, священник задал его так быстро, как будто и не ждал ответа. Она едва передвигала ноги, когда шла под венцом; она не коснулась губами поднесенной ей чаши и, когда кончилось венчание, послушно отдалась в руки, перенесшие ее обратно в карету. Во все время церемонии она ни разу не подняла глаз.

Барыня, приехавшая с нею, гордо и важно последовала к карете; ее посадили те же гайдуки, усадившие туда «молодую»; подножка закинулась, хлопнула дверца, гайдуки вскочили на свои места, и карета, тронувшись, закачалась на высоких рессорах.

Затем показался на паперти «молодой». Он вышел, приостановился, поглядел вслед удалявшейся карете и, надвинув крепко на голову порыжелую шляпу, пешком отправился в город.

В этот день в метрические книги Сампсониевской церкви была занесена запись о браке-сочетании князя Бориса Андреевича Чарыкова-Ордынского с девицею Наталией Дмитриевной Олуньевой.

II. Кто была невеста

Только старуха Олуньева, известная всему Петербургу под именем Настасья бой-баба, могла задумать, начать и привести в исполнение то, что произошло на ее глазах в церкви Сампсония.

Настасья Петровна Олуньева, дожившая безбрачно до старых лет, была одною из влиятельных фрейлин царствующей императрицы. Императрица Анна Иоанновна любила слушать рассказы про старину и про нынешнее время, и никто, как Олуньева, не умел угодить ей рассказами. Ни у кого не было такого запаса воспоминаний, как у нее, и никто не умел с таким поистине прирожденным талантом собрать ходившие по городу сплетни и преподнести их в целом ряде историй, одна другой занимательнее. Редкий вечер проходил без того, чтобы Настасья Петровна не являлась к государыне. Она становилась перед нею, и тогда откуда что бралось у нее.

Олуньева много видывала на своем веку. Прозвание бой-бабы, несмотря на то что постоянно оставалась в девах, получила она еще при покойном императоре Петре I, при котором исполняла даже какую-то должность на учрежденном им «всеобщейшем» соборе. Затем она сумела устроиться и удержаться при дворе, благополучно выплыв из всех разнообразных течений, беспрестанно сменявшихся и уносивших многих с собою. Она была в почете при дворе Екатерины I, ладила с Меншиковым, потом была в дружбе с Долгоруковыми и осталась цела после их падения. Анне Иоанновне она сумела услужить, когда та, еще незначительною герцогиней Курляндской, приезжала в Петербург хлопотать по разным делам своим.

И теперь Олуньева являлась в придворном мире лицом, с которым приходилось считаться. Языка ее боялись и перед нею заискивали. Сам всемогущий Бирон находил нужным ласково относиться к бой-бабе Настасье.

Главная сила Олуньевой заключалась в ее известной всем смелости. Она, по-видимому, не боялась никого, и потому другие боялись ее. Она всегда говорила резким голосом, каким обыкновенно высказывают резкую правду, и все верили, что она не страшась каждому в глаза правду режет.

Положим, смелость ее была рассчитанная – она всегда отлично знала, когда и где показать ее и насколько именно, и когда смолчать, и когда заговорить – но этого не замечали, удивлялись Олуньевой и боялись ее.

Настасья Петровна, сумевшая устроить свою жизнь и достигнуть такого положения, какого не достигла ни одна из ее замужних сверстниц, весьма естественно гордилась собою и своим положением, вследствие чего невольно относилась с легким оттенком презрения к мужчинам, сумев без помощи мужа добиться и почета, и значения.

В душе она не любила мужчин. В свою долгую жизнь она видела столько браков, и столько из них оказывались несчастливыми, что она в конце концов стала уверять, что ежедневно благодарит Бога за то, что Он избавил ее от «султанского тиранства». И всегда в ее глазах в несчастном браке был виноват муж.

Олуньева жила в Петербурге большим, богатым домом, обладая хорошими средствами, доставшимися ей по наследству. Эти средства увеличились еще со смертью ее брата-вдовца, оставившего после себя маленькую дочь Наталью.

Олуньева, как опекунша, взяла племянницу к себе и вступила почти в бесконтрольное управление ее состоянием.

Когда Наташа стала подрастать, Настасья Петровна увидела в ней мало-помалу развитие тех же вкусов и склонностей, какие были в ней самой. Наташа рано начала понимать и рано выказала свою характерность. Игры, какие она придумывала себе, настойчивость, с которою

добивалась того, чего хотела, все свидетельствовало в ней, что из нее выйдет прок, как говорила Олуньева.

– Ой, растет девка – вся в меня будет, – повторяла она, с искренним удовольствием глядя на племянницу.

Воспитывала она ее довольно своеобразно. Ласкать – не ласкала никогда, но почти никогда и не наказывала. Она смотрела строго за тем, чтобы Наташа была одета, обута и сыта, а об остальном не заботилась.

С семи лет она приставила к девочке двух гувернанток: одну – немку, другую – французку, которые сейчас же поссорились между собою и пришли жаловаться друг на друга Настасье Петровне. Та прикрикнула на них и приказала, чтобы этого вперед не повторялось.

Гувернантки, видя свой неуспех, действительно более не являлись к ней, но это не мешало им чувствовать глубокий, зародившийся с первого раза антагонизм между собою.

Следствием этого антагонизма было то, что за девочкой почти не смотрели. Наташа делала что хотела. Живая, бойкая от природы, она приводила в отчаяние окружающих, чем, однако, доставляла несказанное удовольствие тетке, никогда не сердившейся за ее проделки.

Впрочем, жизнь Настасьи Петровны была слишком полна интересами общества, где она вращалась, чтобы она могла уделить много времени племяннице. При этом она вполне искренне верила, что делает для Наташи все от нее зависящее и что та растет при самых лучших условиях, какие лишь возможны для будущей самостоятельной женщины, какою она, по собственному подобию, воображала себе впоследствии Наташу.

Она с одобрением видела, как у маленькой девочки при игре в куклы всегда страдательными лицами являлись мальчишки, как для этой девочки все мужское являлось чем-то низшим, служебным и подчиненным и как впоследствии Наташа, когда подросла, стала охотно предаваться занятиям, совершенно не свойственным, как казалось, девушке. Летом в деревне она ездила верхом, стреляла из лука, ловила рыбу, только пешком не любила ходить.

Все эти занятия очень любила императрица, и Настасье Петровне приятно было рассказывать ей про свою племянницу. Она видела одобрение государыни.

Однако, несмотря на такие наклонности, Наташа оставалась по внешнему виду мило-видно-женственной и ездила верхом и стреляла с такою чисто женскою грацией, словно так только, нарочно, шутя и шая, занималась этим.

В 1739 году Наташе минуло семнадцать лет.

Настасья Петровна и не заметила, как наступило это время, и очень удивилась, когда однажды, всмотревшись за обедом посерьезнее в племянницу, открыла в ней совсем взрослую девушку.

– Мать моя! – сказала она с удивлением. – Да ведь ты совсем дюжей девкой стала. Когда же это ты успела вырасти?

С этого дня Настасья Петровна, видимо, все еще не пришедшая в себя от удивления, стала говорить каждому встречному:

– Нет, представьте, моя-то Наталья, племянница, ведь выросла!.. Так-таки совсем и выросла.

Наташе заказали длинное платье и вывезли на первый бал, где она сразу имела успех; и с этих пор молоденькая, хорошенькая Наташа Олуньева сделалась одним из заметных украшений петербургского общества.

III. Лавровый венок

Зима 1740 года весело проходила в Петербурге.

Несчастный Волынский строил свой ледяной дом, где венчали Голицына с Бужениновой, затем потянулся целый ряд празднеств и «мирных торжеств» по случаю подписанного 7 сентября мира с турками в Белграде.

Эти празднества начались 27 января торжественным въездом в столицу гвардейских войск, участвовавших в кампании.

День был холодный, морозный. Войска входили с музыкой и развернутыми знаменами. У офицеров шляпы были украшены лавровыми листьями, а у солдат – ельником, «чтобы зелень была», как говорилось в расписании порядка шествия.

Впереди гвардейских батальонов, окруженный адъютантами, скороходами, пажами и егерями, ехал начальник отряда генерал-лейтенант, гвардии подполковник и генерал-адъютант Густав Бирон, брат временщика Эрнста-Иоганна. Это было его торжество.

Войска прошли по Невскому к Зимнему дворцу, куда были приглашены офицеры, которых встретила сама государыня.

– Удовольствие имею, – сказала она, – благодарить лейб-гвардию, что, будучи в турецкой войне в надлежащих диспозициях, господа штаб- и обер-офицеры тверды и прилежны находились, о чем я через фельдмаршала графа Миниха и подполковника Густава Бирона извещена, и будете за свои службы не оставлены.

Затем Анна Иоанновна каждого офицера изволила жаловать «из рук своих венгерским вином по бокалу».

14 февраля счастливый триумфатор Густав Бирон командовал парадом двадцатитысячного войска и был произведен в этот день в генерал-аншефы и пожалован золотой саблей.

Для народа были выставлены жареные быки на площади и били фонтаны красного и белого вина. Государыня кидала в толпу жетоны. Двор веселился на празднествах, маскарадах, балах и обедах.

И везде первым лицом, героем торжества был вернувшийся из похода брат всесильного герцога Бирона.

Густаву было под сорок, но благодаря военной выправке и природной молодцеватости он казался моложе своих лет, и его бравый вид производил приятное впечатление. Последнее усиливалось благодаря ореолу почестей и славы, окружавшему теперь Густава.

Он был вдовец. Жена его, дочь в свое время знаменитого Меншикова, умерла четыре года тому назад. Он жил с нею недолго, но счастливо и первое время глубоко, как казалось, чувствовал свою потерю. Однако мало-помалу горе смягчилось, растаяло в заботах по службе и затмилось улыбками счастья, которыми награждала судьба близкого родственника царского любимца.

Время шло для Густава беззаботно и весело. Жил он в великолепном доме на Миллионной, почти во дворце – по крайней мере, мало было тогда в Петербурге таких домов, высоких, каменных, с колоннами из черного мрамора. Отказывать себе ему ни в чем не приходилось, и ему ни в чем не отказывали – ни в почестях, ни во внимании. Захотел он отличиться на любимом своем ратном поприще – его послали в Турцию, и вот он вернулся оттуда, покрытый военной славою, и возвращение его чествовали, как только могли.

Кроме официальных торжеств: въезда, парада, представлений и наград, на каждом балу, на каждом вечере, так или иначе, в угоду герцогу Бирону устраивались оvationи в честь его брата.

Одно из них особенно осталось памятно Густаву.

Это было на балу у Нарышкина. Густаву вовсе не хотелось ехать на этот бал – празднества утомили его; но на этот раз нужно было подчиниться. Брат сказал ему, что у Нарышкина будет

государыня, и этого, разумеется, было довольно. Требовалось снова надевать узкий мундир, прицеплять золотую саблю, садиться в карету и ехать и снова быть центром устремленных отовсюду глаз пестрой, разодетой толпы.

Но все это казалось утомительным лишь вначале, а когда наступило время и Густав, подчиняясь необходимости, надел свой расшитый измайловский мундир, прицепил саблю и со шляпой под мышкой, красиво выгнув вперед широкую грудь, вошел в освещенный зал, его невольно охватило блаженное, самодовольное и себялюбивое чувство сознания собственной цены и значения. Он словно молодел в эти минуты; по крайней мере, для него было что-то молодое, упоительно-радостное в сознании, что вот сотни глаз ищут его взгляда, сотни людей ждут с замиранием сердца, когда он обратится к ним, и если он действительно обратится, то они будут бесконечно счастливы этим.

Бесконечно счастлива будет и та, к которой он подойдет, чтобы пригласить ее танцевать, потому что и среди этих робких, молодых, хорошеньких личиков нет ни одного, которое не было бы обращено в его сторону и на котором не выказывалось бы трепетного желания обратиться на себя внимание.

Густава внове на первых двух-трех балах это тешило, но барышни оказывались очень робки и глупы и слишком уж как-то заискивающе относились к нему. То, что было приятно в мужчинах, невольно отталкивало в женщинах, и ни одна из них не нравилась Густаву.

И тут, у Нарышкина, он после поклона хозяину обвел равнодушным, стеклянным, начальническим взглядом, таким, как оглядывал солдат во фронте, этих распудренных и разодетых красавиц с тем, чтобы, по обыкновению, отвернуться, не встретив симпатичного лица.

И вдруг словно какой-то чужой, внутренний голос сказал ему, что он ошибся. На этот раз не все смотрели на него так, как привык он. Была одна, которая казалась ничуть не смущенною, даже равнодушною. И Густав сразу нашел ее. Словно во всем зале не было никого выше ее – такую непринужденностью, почти гордостью веяло от ее маленькой, стройной, хорошенькой фигурки. Она держалась твердо и прямо и взглянула в сторону Бирона, как будто не он, а она была тут героем, пред которым должно все преклониться. Она глянула и отвела глаза, точно ее вовсе не интересовало, смотрят на нее или нет, и, спокойно играя своим обшитым кружевами и усыпанным драгоценными камнями веером, отошла в сторону.

– Кто это такая? Я ее вижу в первый раз, – спросил Густав у своего адъютанта.

Тот поспешил ответить ему, что это – Олуньева, племянница известной Настасьи Петровны.

– А, знаю – Настасья бой-баба, – ответил Бирон и пошел было искать старую фрейлину, чтобы она представила его своей племяннице.

Но в это время все в зале забегало, засуетилось, зашумело и вдруг стихло. Грянула музыка. Государыня в сопровождении хозяина, герцога Курляндского и царской фамилии показалась в дверях. Густаву необходимо было выйти вперед, и он вышел.

Он был почти уверен заранее, что бал начнется каким-нибудь торжеством в его честь. Вероятно, одна из этих барышень, конфузясь, кусая губы и краснея чуть не до слез, возложит на него лавровый венок.

Густав молил Бога об одном, чтобы при этом не было бы читано стихов. С венком он еще мирился, но стихи, выслушивать которые уже не однажды заставляли его в подобных случаях, были невыносимы.

И действительно, и на этот раз было приготовлено такое торжество. Возложение венка обыкновенно поручалось самой хорошенькой, по всеобщему мнению, девушке, но до сих пор Густаву не приходилось разделять это мнение. Однако теперь с лавровым венком подошла та, которая была на самом деле лучше всех: у Нарышкина венчание героя было поручено молодой Олуньевой.

Она подошла и исполнила свою трудную задачу – трудную потому, что на нее смотрели и шептались, – так просто, естественно и смело, словно ей это решительно ничего не стоило. И Густав чувствовал, как сильнее забилося его сердце, когда Наташа подошла к нему. Казалось, он смутился гораздо более, чем она.

И с первой же встречи, с самого этого бала у Нарышкина, он заметно стал искать дальнейших встреч с Наташей.

IV. Баронесса Шенберг

Начавшийся такими торжествами и таким весельем 1740 год скоро оказался, однако, совсем иным, чем можно было ожидать по его началу. Словно для поддержания равновесия относительно этих торжеств и веселья явилось совершенно новое настроение. Вдруг наступило затишье, двор приуныл, и все, что было влиятельного в Петербурге, забеспокоилось, зашептало и преисполнилось смятением. До сих пор скрытая, но, впрочем, многим известная вражда герцога с кабинет-министром Волынским перешла в открытую борьбу, и все притаили дыхание в ожидании, чем кончится эта борьба.

Однако ждать долго не пришлось. К Святой выяснилось, что падение смелого Волынского неминуемо. Вскоре после Святой недели, 12 апреля, он был арестован, и была назначена комиссия для расследования его преступлений.

Настасья Петровна своим долгим опытом знала, как следовало поступать при таких обстоятельствах: сколько раз на ее глазах положение обострялось, сильные люди вдруг теряли все и падали, и она всегда прибегала в этих сомнительных случаях к одному и тому же, но зато неизменно верному средству: она, как канцлер Остерман, заболела и отпрашивалась в деревню, появляясь снова на виду лишь тогда, когда буря вполне успокаивалась. И теперь Олуньева задолго почуяла беду и поспешила принять свои меры: раннею весною она с Наташей перебралась в деревню.

Очувтившись снова в лесу и в поле, Наташа забыла угар прошедшей зимы, проведенной ею в постоянных выездах, потому что приглашений у Олуньевой было всегда очень много благодаря успеху Наташи и ее модным, дорогим платьям.

Воспоминания об этой зиме слились у нее как-то в одно неразрывное целое чего-то беспокойного, шумного, живого, движущегося и пестрого. И блестящий брат герцога, которому она надевала венки и который потом в числе других мужчин, и молодых, и старых, старался вертеться возле нее, вовсе не занимал видного места в этом воспоминании. Не то чтобы Наташа не заметила его, но он как-то слился у нее со всем остальным и был не более как подробностью, и подробностью далеко не важной.

Впрочем, важным ей ничего не показалось во время ее выездов.

Когда прошли летние месяцы и тетка сказала ей, что пора возвращаться в Петербург, Наташа даже искренне пожалела деревню. Словно по какому-то предчувствию, ей не хотелось ехать снова в тот далекий холодный город, где без них произошли уже страшные события.

Весть о казни Волынского Настасья Петровна получила одна из первых, и Наташу крайне поразила казнь человека, которого она видела во время празднеств в ледяном доме и потом на балах – изящным, красивым и гордым. Неужели этот Волынский погиб на плахе и голова его скатилась под топором палача? Да не одна голова: Наташе рассказывали, что ему сначала отрубили Руку, а потом – голову. И Хрущов с ним, и Еропкин.

Хрущова она тоже помнила, а Еропкина, как ни старалась, не могла припомнить, хотя, вероятно, встречалась и с ним.

За что их казнили, что они сделали – Наташа не могла разобрать хорошенько. Неужели они были в самом деле такие дурные люди? Ей, может быть, легче было бы, если б она узнала, что они были дурные. Она спрашивала у тетки, но та ничего не объяснила и лишь строго-настрого запретила ей не только говорить, но и думать о Волынском, в особенности по приезде в Петербург.

– Говорить там станешь о нем – и тебе язык вырежут, – сказала она, – а думать – так мозги выбьют.

Конечно, это была шутка со стороны Настасьи Петровны, но эта шутка серьезно испугала Наташу. Неужели и ей могут вырезать язык? Отчего же нет, если тем отрубили головы? А

ведь это, должно быть, очень больно, когда язык режут! Но кто же посмеет с нею сделать это? Сильный человек, чужестранец Бирон... И она инстинктивно чувствовала к этому человеку холодный ужас, и чем больше думала о нем, тем страшнее казался он ей.

– А не остаться ли нам в деревне? – спрашивала она тетку, когда подходило время их отъезда в столицу.

– Бирона испугалась? – отвечала тетка своим густым, басистым голосом и начинала смеяться.

Опять этот Бирон! Он не давал покоя Наташе.

Старуха Олуньева стала собираться в Петербург, как только улеглась, по ее расчетам, поднявшаяся там буря. Она, посмеиваясь над Наташей и продолжая пугать ее Бироном, велела укладываться, – высылать подставы и назначила день отъезда из деревни.

В начале августа они были снова в Петербурге. Волынского казнили около двух месяцев тому назад, но это событие уже перестало быть новостью дня. Впечатление сгладилось, и малопомалу обычные себялюбивые интересы охватили опять общество.

Настасья Петровна, вернувшись, нашла почти все по-старому. Ей были рады, ее приняли хорошо, расспрашивали, как ее здоровье, и как здоровье племянницы, и скоро ли вновь увидят эту племянницу.

Появление Олуньевых произвело сенсацию и при дворе, и в обществе. Для придворных возвращение старой фрейлины служило надежным указанием, что положение вещей теперь таково, что бояться нечего, раз уж Настасья Петровна явилась. Для общества было приятно, что хорошенькая Наташа снова покажется в нем, но это же вместе с тем было досадно многим, потому что у Наташи, разумеется, нашлись уже завистницы и недоброжелательницы.

Едва успели Олуньевы устроиться у себя и только что Настасья Петровна побывала во дворце, как старухе Олуньевой доложили, что к ней приехала баронесса Шенберг.

Настасья Петровна поморщилась. Она знала, что баронесса была близка с семейством Биронов (муж ее служил главным начальником по горной части и пользовался расположением герцога Иоганна), а также, что эта Шенберг – большой руки интриганка. Она не любила ее.

Но, помимо этого, неожиданный приезд баронессы служил доказательством, что Олуньевой не обойтись теперь без хлопот. Страсть баронессы путаться в дела сватовства была известна в Петербурге. В прошлую зиму Настасья Петровна достаточно видела ухаживание барона Густава Бирона за своей племянницей, чтобы понять тайный смысл этого приезда баронессы.

«Неужели так скоро?» – подумала она и велела просить гостью.

Шенберг влетела в гостиную, в которой приняла ее Олуньева, с теми ужимками, какие свойственны женщинам, умеющим казаться моложе своих лет.

– Ах, милая, ах, душа моя, – заговорила она, – наконец-то вы вернулись!.. А мы-то ждали вас, ждали...

И она целовалась с Настасьей Петровной, как будто была ей если не близкая родственница, то, во всяком случае, приятельница, готовая душу свою положить за нее.

Когда они сели, баронесса все еще любовно смотрела в глаза Настасье Петровне и, с чувством пожав ей руку, проговорила еще раз:

– Да-да, мы ждали, так ждали и теперь рады...

– То есть кто же это «мы»? – переспросила Олуньева, сейчас же начиная игру в правду и требуя в силу этого определенного ответа.

Баронесса взглянула на нее и ответила еще любезнее:

– Ах, разумеется, мы все!

Но в этом взгляде, брошенной баронессой, выразилась вся разница между этими двумя, в сущности, похожими и вместе с тем совершенно различными женщинами. По своим внутренним качествам, стремлениям и понятиям они были вполне тождественны, но у каждой из

них была совсем особенная внешняя игра, посредством которой они достигали своих целей. Настасья Петровна действовала якобы прямою, почти грубостью, Шенберг – ласковостью и страшною, до тривиальности утрированной любезностью. И обе они понимали друг друга и потому чувствовали взаимную нелюбовь и антипатию.

Шенберг, разумеется, сейчас же заговорила о Наташе и, конечно, стала ее хвалить. Олуњева молча наблюдала за ней.

Поговорив о Наташе, баронесса сейчас же перешла на барона Густава и принялась хвалить его, намекая весьма ясно на то, что счастлива будет девушка, которая выйдет за него замуж.

Ясно было, что Настасья Петровна не ошиблась относительно причины посещения баронессы.

Трудно было ей отвечать. Главное, вся эта история застала Олуњеву врасплох – она не была приготовлена к ней. Она никак не могла ожидать, что барон Густав так быстро поведет нападение. Приехал бы он еще сам, с ним она сумела бы переговорить, но этот предварительный приезд баронессы Шенберг (не было сомнения в том, что это он прислал ее) ставил Настасью Петровну в очень щекотливое положение. С баронессой требовалась самая щепетильная осторожность. Что ни скажи ей, она непременно преувеличит и сделает из мухи слона. И потому Олуњева вовсе не отвечала баронессе по существу. На похвалы Наташе она говорила, что ее племянница правда «девка изрядная», но нисколько и не лучше других и что много есть таких, как она; когда же баронесса хвалила Бирона, она поддакивала ей и, в свою очередь, хвалила его, сказав, что и жену ему нужно не простого дворянского, но по крайней мере княжеского рода.

Это упоминание о княжеском роде сильно покорило Шенберг. Она прикусила губу и ясно намекнула, что Густав Бирон женится, на ком захочет, если сватом от него приедет сам герцог. Разве посмеет кто отказать такому свату?

На вспышку баронессы Олуњева вспыхнула в свою очередь, но не показала виду. Они расстались, по-видимому, друзьями.

V. Тетка и племянница

Когда уехала баронесса Шенберг, Настасья Петровна долго ходила из угла в угол, крепко стискивая заложенные назад руки.

Из всего только что выдержанного ею неприятного разговора самым неприятным казался намек на то, что могут заставить выдать Наташу за кого-нибудь, что могут заставить ее, Настасью Петровну, сделать то, чего она не хочет! Всю свою жизнь она делала всегда по-своему, и вдруг теперь... Настасье Петровне казалось это немыслимым. Она твердо была уверена, что не родился еще тот человек, который способен принудить, покорить ее непокорную волю.

«Нет, шалите, шутите! – говорила она себе, таинственно улыбаясь. – Не будет этого, не будет!»

Как и что делать и почему «не будет этого», она хорошенько не знала еще, однако знала, что ни за что не сделает по-чужому, но непременно по-своему.

Успокоившись настолько, чтобы не показать наружно своего волнения, Олуньева отправилась наверх, в комнату племянницы.

Наташа сидела с книгой у окна, когда вошла к ней тетка.

– Ты что ж это опять читаешь? – спросила Олуньева, которой не хотелось сразу приступить к делу.

Она всегда недоброжелательно относилась к чтению.

– Да делать нечего, – ответила Наташа.

– Роман небось?

– Да, роман, – улыбнулась Наташа.

– Так, мать моя, читай, читай больше, приучайся к любовным маму рам.

У Настасьи Петровны была слабость нарочно коверкать иностранные слова.

Наташа подняла голову и пристально поглядела на нее. Она сразу догадалась, что и приход тетки, и приступ ее были неспроста, что что-то случилось, и, вероятно, очень важное.

– Тетя, – спросила она, – кто у нас был сейчас? Я слышала, как к нашему крыльцу чья-то карета подъезжала.

– Была сорока – на хвосте сор приносила.

– Кто же это?

– Шенбергша. Ты знаешь ее?

Наташа сделала усилие, чтобы припомнить.

– Может быть, – ответила она, – только не помню... Она не бывала у нас?

– Нет, я ее только в важных случаях пускаю к себе.

– А-а! Значит, такой случай был сегодня?

– Бы-ыл, – протянула Настасья Петровна, – и даже тебя очень касался.

Наташа широко открыла глаза.

– Меня? Что за дело этой барыне до меня? – удивилась она, чувствуя, как ее охватывает уже смутный трепет волнения, какое испытывает человек в решительные минуты своей жизни.

– Ей до всех дело... а до тебя теперь в особенности... Ты помнишь барона Густава Бирона?

– Брата герцога?

– Да, его родного брата. Того, которому ты венок надевала у Нарышкина. И нужно было этому венку тогда замешаться! Не будь его – ничего, пожалуй, не было бы.

Наташа видела, что смутное предчувствие не обманывает ее, и ей вдруг стало смешно. Неужели правда дело идет о сватовстве?

– Ты чему ж улыбаешься? – спросила ее тетка.

– Да как же, тетя? Конечно, все это очень смешно. Ведь это выходит... как это говорится...

– Это выходит, что брат его светлости герцога Бирона намерен сватать тебя, вот что! И нам мало времени, я тебе скажу, остается, чтобы обсудить это хорошенько. Так вот и думай!

– Да что ж тут думать? – продолжая улыбаться, сказала Наташа. – Ответ ясен: не хочу я ни за кого замуж, вот и все.

– Что же, век в девках просидеть хочешь?

– Да ведь вы же прожили без мужа! Удовольствие так и расплылось на широком строгом лице Настасьи Петровны.

– Прожила, – заговорила она, – и прожила, мать моя, припеваючи. Счастливее других была, замужних. И всякой, кому добра желаю, посоветую моему примеру последовать, а тебе, Наташа, я желаю добра всей душой, всем сердцем, вот как!

– Ну, вот видите! – опять усмехнулась Наташа.

– Так, значит, отказывать барону-то?

– Ну, разумеется.

Олуньева задумалась. Нелегко было отказать такому человеку, в особенности если угроза баронессы, что сам герцог сватом приедет, сбудется.

– Видишь, дело в чем, моя милая, – снова заговорила она, помолчав, – отказать-то я рада, но как это сделать?

Личико Наташи стало серьезнее.

– Как сделать? Ну, как обыкновенно... Я не знаю...

– Случай-то необыкновенный: ведь если герцог захочет удружить брату...

Только теперь, при этих словах тетки, Наташа сознательно подумала о том, какой человек хочет стать ее мужем. Сначала она с легкомыслием молоденькой, не знавшей еще серьезной любви девушки, чувствовавшей себя очень хорошо и весело в том положении, в котором находилась, просто не хотела изменить это свое положение и, не задумываясь, решила отказать Бирону, как отказала бы всякому другому; но теперь ей стало страшно вступать в семью, где главою был ужасный для нее и для всех ее окружавших временщик. Краска сбегала с ее лица.

– Тетя, – дрогнувшим голосом повторила она, – я не хочу замуж.

Настасья Петровна внимательно поглядела на нее.

– То есть ты, мать моя, за Бирона не хочешь или вообще? – спросила она.

Наташа не ответила и закрыла лицо руками.

– Слушай, Наталья, – продолжала Олуньева, – дело это нешуточное: тут нужно придумать что-нибудь очень хитрое, раз навсегда решить нужно... Растила я тебя, скажу откровенно, вовсе не для замужней жизни. Состояние у тебя есть, а еще я умру и свое тебе все оставлю, – будешь ты сама себе госпожа, живи в свое удовольствие... А мужчины – народ подлый, видала я их довольно... Пока это перед свадьбой – и туда, и сюда, совсем гладкие, хоть веревки вей из них; ну а как мужнюю-то власть воспримут, как это прокричат им «жена да убоится своего мужа», так и пойдет все пропадом; а потом мыкается, мыкается наша сестра, вчуже жаль становится. Говорю тебе, насмотрелась я. Зла тебе не посоветую. И Бирон ли, другой ли – все один рожон, всех их бы в один мешок да в воду... Ну, так вот подумай хорошенько...

Наташа слушала, но плохо понимала слова тетки. Перед глазами у нее стоял страшный образ злого (злым все считали его) герцога, и по телу пробегала дрожь от сказанных когда-то в шутку слов Настасьи Петровны: «И тебе язык вырежут».

– Нет-нет! – кинулась она к тетке. – Ни за кого я замуж не хочу, ни за кого... Возьмите, спрячьте меня! – И она порывисто, нервно заплакала.

– Ну-ну, успокойся! – проговорила Олуньева, глядя ее по голове. – Погоди, авось что-нибудь и придумаем.

VI. Придумали

Целый день Настасья Петровна после разговора с Наташей никуда не выезжала и одна ходила по комнатам, соображая, как быть. Она ни с кем не разговаривала, не подымалась больше наверх к племяннице, не велела никого принимать и только вечером куда-то таинственно посылала Григория Ивановича, старика дворецкого, который, вернувшись, прошел прямо к ней с очень озабоченным, сердито-серьезным видом. После этого Олуньева ушла к себе в спальню и заперлась там.

На другой день рано утром Настасья Петровна вышла с осунувшимся, пожелтевшим лицом и со впалыми, но блестящими глазами, какие бывают у человека после бессонной ночи. Постель ее оказалась нетронутой, она действительно не спала всю ночь.

– Позовите ко мне Наталью Дмитриевну! – приказала она.

Наташа пришла с таким же лицом, как у тетки. Видно, и она не спала совсем.

Олуньева ласково, ласковее обыкновенного, поздоровалась с нею.

– Что, видно, пришли и нашей дочке черные ночки? – попробовала пошутить она, но шутка не вышла у нее, и она, чтобы сгладить впечатление этого, крепко поцеловала Наташу в лоб и продолжала: – Соображала я всю ночь о тебе, и знаешь, что в конце концов полагаю?

Наташа широкими, испуганно-недоумевающими глазами глянула на тетку, в тоне голоса которой слышалась будто угроза.

– Что такое, тетя? – переспросила она.

– А вот что. Барон этот самый, Густав Бирон, богат. Посмотри, в каком почете он! Шутка ли – генерал-аншеф, не стар, ловок... Ты думала об этом?

Наташа, сморщась, опустила веки и тихо ответила:

– Думала.

– Да ты сообрази только: ведь не будешь ни в чем отказа иметь, все у тебя будет, завидовать тебе станут... Сколько девок на твоём месте до потолка прыгало бы!

Наташа сморщилась еще более, словно она испытывала не нравственное, но чисто физическое страдание.

– Тетя, – с трудом проговорила она, – к чему вы это ведете?

– А к тому, друг мой, чтобы потом тебе не каяться.

– Не каяться? – повторила Наташа, вдруг подняв голову. – В чем мне каяться, в чем? Если бы я когда-нибудь вышла замуж за Бирона ли, за другого ли, то уж, конечно, не стала бы соображать ни о богатстве, ни о почете его... Разве мы сами бедны?.. Да и будь мы бедны, тогда бы еще хуже... Нет, тетя, это не то, не то... Ведь вы сами знаете, что не надо говорить так... не надо.

Настасья Петровна уже раньше, до ответа Наташи, видела, что напрасно завела свою речь и что из этой речи ничего не выйдет, как не вышло из шутки, которою она встретила Наташу. И все-таки она с удовольствием выслушала ее ответ, видя, как в девушке заволновалась текшая в ее жилах, родная ей самой олуньевская кровь.

– Ну, полно, полно, Наталья, знаю! Это я только в последний раз испытать тебя желала... Так не хочешь идти ты за Бирона?

– Ни за Бирона, ни за кого я замуж не хочу, – повторила Наташа свои вчерашние слова с еще большим, чем вчера, убеждением.

Ночь, проведенная ею тоже без сна, как казалось, еще более убедила в ее решении. Теперь, после этой бессонной ночи, она готова была на все, лишь бы только отстранить от себя страшившую ее своей неизвестностью замужнюю жизнь, про которую столько страшных рассказов довелось ей выслушать чуть ли не с самого детства.

– Ну, так слушай! – заговорила Олуньева. – Барону Бирону, если приедет сватать его сам герцог, отказать нельзя. А что герцог сам приедет – в этом я не сомневаюсь со слов Шенбергши. Придумала я, как решить это. Хитро будет и никому не обидно...

Наташе, напуганной всемогуществом герцога, казалась судьба ее решенною. Она видела уж себя замужем за чужим, вовсе не любимым человеком, братом еще более чужого и страшного человека. Она думала, что и тетка призвала теперь ее к себе с тем, чтобы сказать ей, что и она не нашла выхода и что приходится покориться обстоятельствам. И вдруг эта тетка (о, Наташа знала ее!) говорит, что выход есть, что она придумала что-то хитрое; а если она говорит – значит, это верно.

– Что ж вы придумали? – спросила она, заметно повеселев.

– А для этого, милая моя, загадаю тебе загадку, попробуй сама разрешить ее. Слушай! Коли не хочешь выходить за Бирона – готовься к свадьбе.

– То есть как же это к свадьбе? – протянула Наташа, не понимая загадки Настасьи Петровны.

Настасья Петровна, опустив голову и улыбаясь, смотрела на нее исподлобья, как бы только из снисхождения к ней ожидая решения, но на самом деле будучи уверена, что никогда Наташа не примет этого решения.

– Вот как, – наконец заговорила она, – слушай: можно найти какого ни на есть недоросля из дворян, с хорошей фамилией, пойми ты – непременно с хорошей фамилией. И вот ты обвенчаешься с ним – для одной проформы, разумеется... А до свадьбы мы отберем у него подписку в том, что он дает тебе полную волю заранее и сейчас из-под венца идет он в одну сторону, а ты – в другую. Ну, так можно уговориться с ним, что он за это получит, или как там... выйдет... И будешь ты тогда на всю жизнь обеспечена от женихов и от всяких бед власти султанской, потому что всякий муж султана над тобою разыграет, а мне тебя жаль... И тут уж не только герцогу, а самой государыне, пожелай она выдать тебя замуж, – ничего сделать нельзя будет, потому что ты уж обвенчана, как есть по форме... Впрочем, государыне я сама улучу минутку рассказать об этом деле... Ей понравится это. А у тебя-то потом воля какая – делай что хочешь, ездь одна, куда хочешь, принимай кого знаешь... Полная как есть свобода, потому что будешь ты замужем...

Наташа слушала с заметным волнением. Слова тетки казались ей и странными, и заманчивыми. Но это было так необыкновенно, так ново, так далека была Наташа от такого замысловатого плана, что она не сразу могла и оценить его, и воспринять.

В этом плане было много романтического, завлекательного. В самом деле, Наташа могла получить быстро, в один день и раз навсегда, свободу замужней женщины и не связать себя никакими обязанностями, никаким подчинением. Она получала очень много и, по-видимому, не теряла ничего. Для нее эта свадьба являлась игрушечной, фантастической свадьбой и понравилась с первого взгляда тем более, что она, так недавно еще выйдя из ребяческого возраста, осталась ребенком в душе, готовым еще играть, и вместе с тем воображение ее было уже несколько заражено чтением невероятных, запутанных романов.

Как бы то ни было, Наташа вдруг повеселела.

– А ведь в самом деле, тетя, – сказала она, – если бы можно было устроить так?

– И можно, друг мой, – отозвалась Олуньева, – весьма возможно.

– Но только... смешно это, невероятно... Как же это так вдруг?... Да разве вы найдете такого человека?

Наташа говорила это и смеялась.

– За «таким человеком» дело не станет, – сказала Настасья Петровна. – Человека подходящего уже нашли.

– Как нашли? – серьезно спросила Наташа.

– Я посылала Григория; он уже переговорил, и все сделано, если хочешь – скажи только...

– Неужели нашли? – опять протянула Наташа. – Кто же он?

– Князь Чарыков-Ордынский.

– Чарыков-Ордынский? И он согласен на все эти условия?

– Да, согласен.

Наташа задумалась, а затем спросила:

– Как же, тетя? Значит, нужно венчаться?

– Да, если не хочешь быть за Бироном.

– Но послушайте, тетя, – дрогнувшим голосом заговорила Наташа. – А если я... если я люблю... впоследствии... кого-нибудь... тогда уже все будет кончено и мне не будет свободы?

– Вот, матушка, – подхватила Олуньева, – ради одного этого я бы выдала тебя таким образом замуж. И очень может быть, даже наверное эта дурь – любовь, как говоришь ты, – придет тебе в голову... То есть пока я жива – не придет, ну, а когда умру, – и вот из-за этой-то дури ты погубить себя можешь. Я тебе говорю: замуж идти – пагуба, а так живи сама себе королевой.

Настасья Петровна ничуть не сомневалась, что Наташа впоследствии раскается в своем поступке, если выйдет за Ордынского, но она была уверена, что, во всяком случае, это раскаяние будет меньшим горем, чем замужняя жизнь.

– И кто же этот Чарыков-Ордынский? Молодой? – проговорила опять Наташа.

– Молодой. Фамилию хорошую носит. Отец его богат был, да разорился. Я Григория у старого князя купила. Молодого-то он встретил намеренно... Забудыга он, правда, но ничего. С ним тут такой случай вышел...

VII. В аустерии

Случай, о котором говорила Настасья Петровна, произошел с князем Чарыковым-Ордынским всего лишь за несколько дней перед этим.

Это было в одной из так называемых аустерий, заведенных еще Петром Великим в Петербурге.

Григорий Иванович, дворецкий Олуньевой, позволял себе иногда за приятным разговором выпить кружку пива, не напиваясь, впрочем, допьяна, и для этого ходил в аустерию. У него была одна излюбленная. Она, как все аустерии в Петербурге, делилась на чистую и черную половины, причем черная имела совсем неряшливый вид. Тут стоял стол с выдолбленными углублениями, куда вместо тарелок прямо наливали или клали кушанье из котла. К столу же были приделаны на цепочках и ложки для тех посетителей, которые не приносили своих. Посреди комнаты находился широкий чан с пивом. В нем плавал ковш. Желавшие подходили и пили. Пили далеко не всегда на наличные деньги и тогда оставляли в залог что-нибудь из одежды; этот залог вешали тут же на чан. Все это было грязно, мрачно, и тут постоянно толпился шумевший народ.

Григорий Иванович, по обыкновению, миновал эту черную половину и прошел на чистую. В ней было несколько опрятнее и светлее. В окнах стекла были вымыты, пол покрыт досками и усыпан песком, столы и табуреты выскоблены.

Григорий Иванович поздоровался с хозяином, встретившим его как знакомого, и перемигнулся с ним, кивнув в ту сторону, где сидел известный во всех вертепах Петербурга Чарыков-Ордынский.

Кроме него, других посетителей не было. Чарыков сидел в углу, в отдалении, опершись на локоть и сосредоточенно, не обращая никакого внимания на окружающих, смотрел тупо в стену. Перед ним стояли стакан и наполовину пустая фляга с водкой.

Было что-то крайне грустное, почти жалкое во всей его фигуре, но, несмотря на это, он не казался несчастным, павшим и забитым. И в позе его, и в выражении, и даже в беспорядке поношенного, потертого и заплатанного костюма чувствовались какая-то сила и мощь, словно этот жалкий, так низко павший человек бросил вызов жизни, кинулся в разврат и боролся с ним и не был до сих пор ни побежден, ни пришиблен им. Кто бы ни взглянул на него, почувствовал бы вслед за жалостью скорее страх к нему, чем презрение.

— А все-таки в нем заметна какая-то стихийная сила! — говорили про Чарыкова люди, встречавшиеся с ним в заведениях высшего порядка.

Князь не брезгал ни народом, ни кабаком, служившим единственным почти развлечением этому народу, но вместе с тем никогда не сходил ни с кем и ни с кем не заговаривал.

— Это, брат, так он вертит, что, глядячи на него, голова кружится, потому такая линия, — говорили про него в народе, которым он не брезгал.

Где и как жил князь Чарыков-Ордынский — никто не знал. Иногда он пропадал на несколько дней — куда? — тоже было неизвестно. Потом он вновь появлялся, и всегда сосредоточенный, угрюмый. Он заходил одинаково и в кабак, и в аустерию, и в герберг, и в тайный притон известной тогда в Петербурге немки, где между прочим велась большая игра в карты и кости. Он приближался к игорному столу, делал ставку и, если выигрывал, ставил дальше. И перед ним одинаково расступались и давали ему дорогу и напудренные щеголи в шитых атласных кафтанах, являвшиеся в этот притон, и мужики в зипунах, встречавшие князя в аустерии.

Куда бы ни являлся Ордынский, он приходил с таким равнодушным спокойствием ко всему окружавшему, точно это окружавшее вовсе не существовало для него, и он сам будто не знал, где находится, не знал, не обращал внимания и забывал. Ему, казалось, было безразлично,

кто вокруг него: знатный ли человек или простолюдин; он не глядел ни на кого, а если и глядел, то, казалось, никого не узнавал.

Григорий Иванович, бывший крепостной отца Ордынского, проданный им Олуньевой двадцать лет тому назад, помнил молодого князя пятилетним мальчиком и был чрезвычайно поражен, когда в первый раз встретил его в аустерии. Григорий Иванович думал и выражал это громко, что наступили последние времена, потому что случалось ему встречать в таких местах недорослей из дворян, но княжеских детей между ними не было. Хотя, собственно, трудно было понять, чем княжеский сын лучше дворянского, но для Григория Ивановича это казалось очень больно. Еще больнее было для старика то, что Ордынский не узнал его.

Впоследствии он привык. Он привык, войдя в аустерию и встретив там Чарыкова, перемигнуться с хозяином с видом «мы, дескать, знаем свое» и, усевшись в сторонке, заняться своим делом.

И на этот раз Григорий Иванович, по обыкновению, спросил себе пива и уселся у стола в другом, противоположном тому, где сидел Ордынский, конце комнаты. Он принялся за свое пиво особенно медленно, поджидая каких-нибудь посетителей, чтобы затеять с ними интересную беседу.

Григорий Иванович любил такие беседы. Он знал, что аустерии редко остаются пустыми подолгу, и действительно, вскоре дверь отворилась и вошел измайловский гвардейский солдат с каким-то довольно чисто одетым человеком.

Солдат был молодой, здоровый, симпатичный. Товарищ его, судя по платью, принадлежал к мелкому служилому люду, подвизающемуся по письменной части, и производил совершенно обратное впечатление. Его парик, низко надвинутый на без того уже узкий лоб, как-то приплюсывал голову и придавал лицу неестественно глупое выражение, совершенно не соответствовавшее его хитрым, едва видневшимся глазкам, беспокойно бегавшим по сторонам. Приплюснутый нос и толстые губы имели в себе нечто отталкивающее.

Григорий Иванович с некоторым неудовольствием покосился в его сторону. Ему был бы желателен другой собеседник.

Пришедшие сели за один с ним стол (этот стол был самый большой), и Григорий Иванович слегка отстранился от них.

– Так вот, братец ты мой, – начал солдат, когда они сели и им подали пива, – иду это я в самые Петровки по Петербургской и вижу – у самой крепости строят помост...

Они, видимо, продолжали начатый разговор, и солдат рассказывал о виденной им казни.

Григорий Иванович потихоньку пробрался к хозяину, будто за пивом еще, и шепотом спросил, не знает ли он, кто пришел с солдатом. Хозяин поджал губы и, прищулив глаза, ответил:

– Иволгин некий, по письменной части служит.

Он только и сказал это, но по выражению его губ и по прищуренным глазам легко было понять, кто такой этот Иволгин и как нужно быть осторожным с ним. По тогдашним временам таких людей было много в Петербурге.

Первым движением у Григория Ивановича было уйти поскорее. Но жалость к солдату, добродушно и подробно рассказывавшему о впечатлении, вынесенном после зрелища казни, а главное – любопытство к тому, не произойдет ли тут чего-нибудь особенного, превозмогли его боязнь, и он остался. Уж очень солдат казался откровенным, и Иволгин слушал его с большим вниманием.

Григорий Иванович вернулся к столу.

– Вот служба о казни злодея Волынского рассказывает, – обратился к нему Иволгин, видимо, желая и его втянуть в разговор.

– Да, конечно... всякие дела бывают, – неопределенно отозвался Григорий Иванович и сел не на прежнее свое место, а поодаль.

VIII. Слово и дело

– И как это кровь у него брызнет, – продолжал солдат, – я так и обмер.

– Чего ж обмер? Жаль, что ли, стало? – усмехнулся Иволгин.

– Да что ж, и жаль по-человечеству, выходит: ведь как ни говори, а большой барин был, а кровь-то темная, все равно что у нашего брата... Так, видно, на роду ему написано...

– А за что казнили-то его, знаешь?

– Читали там, только понять трудно было. Говорят, Бирону супротивник... И что народа попортил этот Бирон-от! – добавил вдруг солдат совершенно неожиданно.

Иволгин нахмурился.

– Ты, брат, герцога не хули! – строго проговорил он, видимо, стараясь подражать голосу своего начальства, когда оно бывало строгим.

Солдат обернул к нему свое широкое русское лицо и улыбнулся. Он был уже пьян (Иволгин привел его пьяного) и теперь хмелел с каждым глотком пива все более и более.

– То есть это значит – ты желаешь резон мне подвести к примеру? – вызывающе спросил он.

– Резон там не резон, а я так только... Так ты говоришь, что народу перепортил...

Но, очевидно, строгий тон Иволгина задел солдата за живое.

– Нет, ты мне скажи, – не унимался он, – как можешь мне ты резон давать, а? Не видал я твоего герцога разве?

– Что-что «не видал»? – протянул Иволгин.

– А герцога твоего... Да знаешь ли ты, что родной брат этого самого герцога – командир наш... нашего полка командир и отец?... Да... и зейен зи руиг¹... Ты видал, каков ему почет ныне от государыни?..

– Так что ж, значит, ты воображаешь себе, что, коли брат герцога командир у вас, так тебе можно язык распускать?

– Нет, ты погоди! – перебил снова солдат. – Ты думаешь, у меня нет ничего, так я – заваливающий солдат, имущества-де у меня крест да пуговица? Да знаешь ли ты, что отец мой купить тебя со всей требухой может... Купец – он, мой отец-то, в Риге богатую торговлю ведет, и солдатом не быть бы мне, кабы не рассерчал он на меня да под горячую руку не отдал бы... Вот теперь я пью и тебя пою и еще напою, фонтан из пива устрою, потому теперь родитель-то жалость ко мне почувствовал и денег прислал. Он меня откупить хочет, ну вот я и гуляю... и гуляю... потому что мне теперь все одно... и не боюсь никого... Хочешь вина заморского – вали, пей вина заморского! Я тебя угощу.

У солдата был, видимо, хвастливый хмель, и он, совсем почти пьяный, говорил заплетавшимся языком все, что приходило ему в голову.

Иволгин насторожил уши, когда речь зашла о богатом отце, занимавшемся купечеством в Риге.

– А чем же торгует твой отец? – спросил он солдата.

– Кожей торгует, салом, пеньку и лен из Пскова возит.

– И большую торговлю ведет?

– Бо-ольшую!

– И ежели что с тобой за твои речи произойдет, то, ты говоришь, он не пожалеет денег теперь?

¹ Будьте покойны (нем.).

– А что за мои речи произойдет? И за какие такие речи, а? Да кто супротив меня сможет пойти теперь, когда я тебе говорю, что отец и командир... а герцога-то... герцога я уважаю, всю ему амуницию покажу.

– Так-так! – стал вдруг одобрять Иволгин. Григорий Иванович отодвинулся еще далее, поближе к двери. Вертевшийся тут же хозяин исчез незаметно.

– Мне герцог – все одно что ничего, – продолжал солдат, – и никто мне ничего, потому что все нипочем... Захочу кричать: «Виват, государыня Анна Ивановна», – и буду кричать, а не захочу, не буду. Вот тебе и весь сказ!.. А ты перед военным человеком трепет чувствуй; мы кровь в турецкой земле проливали... А ты проливал?.. Нет, ты скажи, проливал ты или нет?

Иволгин слушал не перебивая и все чаще и чаще посматривал в окно. Вдруг он быстро вскочил, подбежал к окну, с размаха ударил в него и, высунувшись, заорал, видимо, привычным, в лад раздавшимся криком:

– Слово-о и дело!..

На улице показался под окнами обход солдат.

Все заволновалось кругом и пришло в движение. С черной половины, где страшный возглас Иволгина был сейчас же услышан, часть народа выскочила на улицу и бросилась врассыпную, а немногие более смелые и любопытные сунулись в дверь на чистую половину, чтобы узнать, что произошло там.

Григорий Иванович, отступление которому было заграждено этими любопытными, прижался к печке, дрожа и силясь забиться в узкое пространство между печью и стеною.

Не успел опомниться никто, как в комнату аустерии вбежали солдаты.

– Хватайте его, берите! – кричал Иволгин, указывая на своего собеседника. – За ним я знаю государево слово и дело.

Полупьяный солдат, видимо, отрезвел совершенно в одну минуту. Он вскочил и, упершись руками в стол, оглядывался кругом, словно не зная, с какой стороны надвинется на него большая опасность.

А опасность, угрожавшая ему, была очень значительна. Раз захваченный по возгласу «слово и дело», он попадал в застенки Тайной канцелярии, где допрос всегда сопровождался пыткой.

Там сделана дыба из двух вкопанных в землю столбов с перекладиной наверху. Свяжут руки, вывернут их назад и вздернут на перекладину, так что кости в плечах хрустнут, а к ногам привяжут бревно, на которое надавливает еще палач. В это время по спине бьют ремнями. Потом – тиски железные, «в трех полосах» с винтами, в них кладутся пальцы, и они свинчиваются до тех пор, «пока не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать». «Наложа также на голову веревку, вертят так, что оный изумлен бывает. Потом простригают на голове волосы и льют воду на то место почти что по капле... а потом и огонь таким образом: палач, отвязав привязанные ноги от столба, висячего на дыбе растянет и, зажегши веник с огнем, водит по спине, на что употребляется веников три и больше, смотря по обстоятельству». Все эти ужасы существовали в действительности, но в народе ходили еще более страшные рассказы, и одно имя Тайной канцелярии приводило в трепет.

Власти и военные обходы, рассылаемые по городу, обязаны были при всяком вскрике «слово и дело» хватать обличителя и обличаемого и вести их в Тайную канцелярию.

– Да что вы, что вы, – заговорил солдатик, – никаких за мною вин нет, где в чем провинился я?

– А как же ты сейчас вот, – подскочил Иволгин, – злодея Волынского жалел, говорил, что тебе герцог ничего не значит, и кричать «виват» государыне не хотел? Как же это так... а?..

Солдаты обхода с тупо-серьезными, строгими лицами, исполняя как бы нехотя тяжелый для них долг и как бы говоря, что там, дескать, потом разберут, а мы свое дело сделаем, придвинулись к оговоренному. Их было четверо.

– Стой! – вдруг раздался громкий голос Ордынского, про которого забыли все.

Двое из солдат отступили.

– Нечего хватать его! – крикнул Ордынский. – Я не дам! Слышали?.. Вздор все это, оговор...

– А, сударь, – закричал в свою очередь Иволгин, – вы чего мешаетесь? Ребята, бери и...

Но он недоговорил. Крепкий удар в голову, которым ответил ему Чарыков, сшиб его с ног.

Солдаты обхода бросились на князя и на измайловца. Началась свалка, в которой четверо напали на двух, но эти двое оказались сильнее. Чарыков махал сломанной табуреткой и один работал за троих. Измайловец с выкатившимися, налитыми кровью глазами, не помня себя от вновь ударившего его в голову хмеля, душил попавшегося ему в руки солдата, который из нападавшего преобразился в защищающегося и силился лишь высвободиться.

Сделав невероятное усилие и вырвавшись, он кинулся вон.

В это время Ордынский, отбившись от окружавших его, оказался у двери, бывшей в задней стене и ведшей, вероятно, в помещение хозяина. Измайловец очутился возле него, и они, словно сговорившись, вдруг толкнулись в эту дверь и захлопнули ее за собою.

За ними бросились солдаты, но засов был уже задвинут.

Ордынский со спасенным им солдатом очутились в проходных задних сенях.

– Сюда, сюда! – услышали они беспокойный шепот возле себя, и из-за кадки показалась старая голова Григория Ивановича, успевшего раньше них скрыться здесь.

Он вылез и, не теряя времени, вывел Ордынского на огород, а затем показал ему забор, перелезши который, он мог быть вне опасности.

Измайловец последовал за Ордынским.

IX. Счастливый человек

Олуньева не ошиблась, догадавшись, что баронесса Шенберг приезжала к ней не по своему собственному почину, но до некоторой степени уполномоченная, или, вернее, подосланная, для того, чтобы исследовать почву.

Барон Густав Бирон, как только узнал, что Олуньева явилась во дворец, сообразил, что она вернулась с племянницей в Петербург.

Наташа, которую он не пропускал прошлого зимою ни на одном вечере после того, как она надела ему лавровый венок, привлекла к себе все его внимание, и все мысли его сосредоточились на ней. Он так привык на этих вечерах встречать ее хорошенькое, веселое личико, что отсутствие ее в летние месяцы было для него чувствительно.

Он удивился сам себе, когда после отъезда молодой Олуньевой, не видаясь с нею, стал вспоминать их, собственно, ничего не значившие встречи и заметил, что скучает по ним. Он пробовал забыть, пробовал заниматься своим любимым полком, старался овладеть собою, но ничего не помогало, и милое, нежное воспоминание о молоденькой девушке с каждым днем становилось все более и более ощутительно.

Эта свежесть, нежность и невинность Наташи дразнили сорокалетнего барона и манили к себе. Он не спрашивал себя, был он влюблен или нет. В его лета странно было влюбляться наподобие мальчика, но вместе с тем в положении, в котором он находился, ему странно было подумать, что не сбудется какое-нибудь из его хотя бы потаенных желаний. Он был слишком счастлив и чувствовал себя слишком счастливым, чтобы допустить, что покровительствовавшая ему судьба изменит на этот раз.

Да, барон Густав был счастлив и доволен, но так как человек никогда не может остановиться в своих желаниях, в особенности если видит исполнение их, то и Густаву казалось, что его счастье и довольство были бы еще полнее, еще больше, если бы он был не один, а имел возле себя кого-нибудь, способного разделить это счастье.

Лучшей жены, чем Наташа, Бирон не желал.

Нравилась ли она ему потому, что он желал и искал себе жены, или он стал желать себе жену, потому что ему нравилась Наташа, он не задумывался о том. Знал, что ее не разлюбил, и, как только стало известно, что Олуньевы вернулись, обратился немедленно к известной ему баронессе Шенберг, опытной в таких делах и, главное, настолько преданной ему, что можно было на нее положиться.

Он ничего не объяснял подробно баронессе, просил только съездить, вообще узнать, что там у Олуньевых, как вернулись они, и сейчас же от них заехать к нему. Шенберг поняла все с полуслова и обещала прямо от Олуньевых быть у Бирона.

Густав в ожидании баронессы ходил по большому, казавшемуся теперь ему пустынным залу своего богатого дома, который и действительно был слишком велик для одного человека, даже шаги раздавались слишком гулко по залу. Парадные комнаты, гостиные имели совсем нежилой вид.

Густаву невольно приходило в голову, как было бы хорошо, если б все вокруг него в его доме снова ожило.

Ему вспомнился этот зал четыре года тому назад. Он обтянут весь черным, посередине стоит золотой гроб, покрытый золотым же покровом. В гробу лежит она, черноглазая красавица, его жена. Как обманулись тогда его мечты! Он готовился стать отцом, но судьба не судила этого: вместо того чтобы получить ребенка, он лишился жены. Она лежит в гробу в своем белом, затканном серебром платье, голова ее закрыта дорогими кружевами и увенчана короной, и он не узнает этой головы – глаза, составлявшие главную прелесть ее лица, закрыты, и лицо неподвижно, холодно и строго. На ее левой руке, покрытый серебряной тканью, покоится

младенец, переживший мать лишь на несколько минут. Его вытянутое прямо, как доска, мертвое маленькое тельце неудобно, точно вещь, лежит на вытянутой так же прямо мертвой руке матери, и это кажется особенно жалостным.

Перед выносом начинается, по русскому, неприятному и непривычному для Густава, обычаю, прощание с покойницей. Он не хочет присутствовать при этом, но брат уговаривает его, почти приказывает ему идти, и он идет. Вокруг гроба толпится народ, приглашенные; они, чужие, целовали его мертвую жену, и он должен идти целовать. Его ведут под руки. Он медленно подымается по ступеням катафалка, чувствуя, как стучат по дереву каблуки его сапог, нагибается и в первый раз близко видит жалкое, крошечное личико ребенка. И все у него есть – и носик, и ротик, и глазки закрыты, и ручки с пальцами... И вдруг Густав ясно различает, что один из пальцев сведен судорогой... так и застыл сведенный. Дрожь пробегает по спине у него, в глазах темнеет, и он лишается сознания.

Теперь он вспоминает, как его жена беспокоилась после того, когда он потерял обручальное кольцо, беспокоилась и говорила, что это – дурная примета. И нужно же было потерять ему кольцо! Где оно теперь? Как ни отыскивали они кольцо, какие награды ни обещал он за находку – оно не нашлось, и вот действительно ее не стало.

«Что за пустяки! Разве от этого могло что-нибудь случиться?» – подумал Густав и улыбнулся.

И, улыбнувшись, он поймал себя на том, что улыбается, несмотря на свои грустные воспоминания.

Но разве он виноват был, что его жена умерла? Разве он не любил ее? И разве виноват он, что пережил ее и не может не любить жизнь, давшую ему столько радостей и при жизни ее, любимой жены, и потом, после ее смерти?.. Будь она жива, он не променял бы ее ни на кого, но ведь ее нет, она уже кончила с этим миром, а ему нужно еще жить, и, раз жизнь дает ему счастье, зачем отказываться от него!

Если он, быть может, не заслужил этого счастья, то, во всяком случае, не сделал ничего такого, за что было бы справедливо отнять это счастье у него. Он никому не хотел и не делал зла, добросовестно исполнял свои обязанности и жил во всем согласно долгу чести.

Так думал Густав, ходя по огромному залу и по временам останавливаясь у окна, чтобы взглянуть, не подъехала ли к крыльцу карета баронессы Шенберг.

Наконец он явственно услышал стук колес подъезжавшего экипажа по бревенчатой мостовой. Это была Шенберг. Густав пошел ей навстречу.

– Ну что, были? Переговорили? Какие вести? – заговорил он, здороваясь с баронессой.

Шенберг с улыбкой одобрительно закивала головою и подмигнула.

На самом деле она была не совсем довольна своим посещением Олуньевой, при намеках относительно сватовства ее племянницы вовсе не выказавшей той радости и предупредительности, которых ожидала от нее баронесса. Но вместе с тем не было дано и прямого отказа.

Шенберг было решительно безразлично, что этого отказа не последовало, может быть, исключительно потому, что не было предложения: она съездила, переговорила и ни в каком случае не хотела огорчить всегда доброго к ней барона дурными вестями.

Впрочем, она знала заранее, что дурных вестей не привезет даже при самом худшем обороте дела, то есть если Олуньева покажет вид, что не понимает ее намеков. Тогда барону Густаву следовало просить своего брата быть сватом, и все должно было устроиться.

Олуньева не поняла намеков, и Шенберг не могла ничем особенно обрадовать Бирона; но, несмотря на это, она все-таки весело поздоровалась с ним, словно все уже было решено и подписано.

– Отлично, все идет отлично! – ответила она на вопрос барона и быстрыми шагами, как деловой человек, которому некогда терять время, прошла в гостиную. – Ну, слушайте, – заговорила она, садясь на диван и притягивая за руку к стулу барона. – Сядьте!.. Вот видите...

я, разумеется, ни в какие подробности не пускалась... Вы понимаете это... ведь иначе нельзя было...

Густаву хотелось бы, чтобы она именно пустилась в подробности с Олуньевой и привезла уж более или менее решительный ответ, но она с таким убеждением сказала, что это нельзя было, что он невольно подтвердил:

– Ну да, разумеется!

– Ну, вот видите! – подхватила баронесса, очень довольная собой. – Я говорила так только, вообще, с самой старухой теткой говорила.

Шенберг нарочно тянула, не зная, что сказать.

– Ну, и что ж она? – спросил Бирон.

– О, разумеется, в восторге, то есть она будет, должно быть, в восторге... Но только, знаете, она чрезвычайно горда и самолюбива... Нужно будет непременно просить его светлость...

Бирон встал и заходил по комнате, кусая ногти. По одним этим словам баронессы он уже понял, что ее посольство не имело никаких результатов, но он и без Шенберг знал, что если только поедет брат, то отказа быть не может.

– Так вы думаете, что брату нужно самому ехать? – переспросил он, молча сделав несколько шагов по комнате.

– Да, я думаю, – подтвердила баронесса.

– Но уверены ли вы по крайней мере, что Иоганну не откажут?

– О, немыслимо, барон, чтобы отказали ему!

Помимо той уверенности, с которою баронесса протянула эти слова, Густав сам чувствовал, что действительно это было немыслимо, и решил тотчас же отправиться к брату.

Х. Два брата

Густав Бирон вышел из дому пешком – до Летнего сада, где жил временщик, было недалеко. Он повернул на набережную Невы, миновал Царицын луг и скоро очутился у длинного одноэтажного здания Летнего дворца, расположенного вдоль набережной, у сада. Часовые у дверей, ведших на половину, где жил его брат, отдали ему честь ружьем по артикулу, и он смело, не привычною для остальных, входивших сюда, поступью вошел в сени.

Он жил в ладах с братом; по крайней мере герцог Эрнст-Иоганн всегда был приветлив к нему и даже заботился о его карьере гораздо более, чем сам он. Они знали друг друга с детства, и Густав знал характер брата, иногда вспыльчивый и резкий, может быть, даже капризный, как у всех избалованных судьбою людей. Он никогда не перечил ему в минуты вспыльчивости, и между ними не бывало серьезных размолвок. Поэтому они были дружны, гораздо дружнее, чем с третьим, старшим братом Карлом.

Густав мог входить к герцогу без доклада, но никогда не пользовался этим правом.

– Что его светлость, не заняты? – спросил он одного из засуетившихся и бросившихся ему навстречу немцев-лакеев.

– Господин герцог изволили только что позавтракать, – стал подробно докладывать лакей, – и теперь прошли в свой кабинет.

– А в приемной есть кто-нибудь?

– Есть! – с почтительной улыбкой ответил лакей, принимая не иначе как в шутку подобный вопрос, потому что брату его светлости должно было быть известно, что всегда находились люди, считавшие за честь побывать в приемной герцога Курляндского.

Густав прошел мимо этих толпившихся без всякой нужды в приемной людей, полулюбезным, полуофициальным наклоном головы ответив на их низкие поклоны, и, миновав следующую за приемной комнату, постучал в резную тяжелую дверь братнина кабинета.

– Herein!² – раздался голос герцога, которому уже доложили о приходе Густава.

Бирон сидел за столом лицом к двери и отдавал какие-то приказания стоявшему перед ним секретарю.

– Так и сделайте, так и сделайте, – говорил он, дотрагиваясь концами пальцев до бумаг, которые держал секретарь. – Больше у вас никого нет?

– Один ждет вашу светлость... говорит, важное дело, – ответил секретарь, понижая голос.

– Кто такой?

– Иволгин.

– Позовите его!

Герцог Бирон торопился, видимо, довольный приходом брата, и хотел покончить совсем с делами, прежде чем разговориться с ним. Он относился к Густаву, как вообще мы относимся к людям, обязанным нам своим счастьем. Нам приятно и весело видеть это их счастье, и мы обыкновенно любим их гораздо более человека, перед которым сами чувствуем себя обязанными. И герцогу Бирону приятно и весело было смотреть на своего красивого и видного брата, далекого от всей мелкоты и дрызг, в которых самому ему приходилось возиться, счастливого, здорового и радостного. Радостью жизни веяло всегда на герцога, когда он глядел на красивую, сильную фигуру брата, и он всегда приветливо улыбался последнему.

Он улыбнулся ему и на этот раз и весело сказал:

– Погоди, присядь! Сейчас освобожусь. Густав сел в кресло поодаль.

– Я тебе буду мешать, может быть? – спросил он.

– Нет, вот только одного отпущу.

² Войдите! (нем.)

– А там в приемной много ждет. Герцог махнул рукой.

– Те сами не ведают, зачем пришли. Знаю я их... Посидят и уйдут, довольные, что посидели там.

В это время в маленькой внутренней дверце, обтянутой расписною парусиной, как и все стены кабинета, появился Иволгин, которого ввел секретарь. Его голова была замотана повязкой, из-под которой на лбу виднелся синевато-багровый подтек, одежда выказывала, что много тщетных усилий было употреблено для приведения ее в порядок.

Бирон с нескрываемым омерзением отвернулся к окну и, морщась, спросил:

– Что? Какое дело?

Иволгин, не оробев, как человек бывалый и, видимо, не раз уже разговаривавший с герцогом, начал кратко, сжато, но подробно рассказывать обо всем происшедшем с ним в аустерии.

– Князь Чарыков-Ордынский? – переспросил Бирон, когда Иволгин назвал главного виновника случившегося.

Иволгин поспешил объяснить, что этот князь был из так называемых недорослей и пользовался некоторою известностью в Петербурге благодаря своему поведению, но что до сих пор он никогда еще не осмеливался на такой явно уже Дерзкий поступок.

– А кто виноват? – заговорил Бирон. – Кто виноват? Сам виноват... Я велю другой раз драть тебя первого... сам виноват... – Он говорил и сердился и на Иволгина, и на то, что не находил слов по-русски и с трудом выговаривал их. – Ну, иди, довольно, будем рассмотреть все! – и, перейдя снова на привычный для себя немецкий язык, Бирон уже более мягким голосом приказал секретарю во что бы то ни стало разыскать виновных и отправить их в Тайную канцелярию.

Когда наконец секретарь ушел и увел с собою Иволгина, в комнате воцарилось неприятное, тяжелое молчание. Герцог откинулся на спинку кресла и остался с закрытыми глазами.

Густав сидел и чувствовал, как больно и неприятно сжималось его сердце. Шел-то он к брату с мирными, чистыми, как ему казалось, мыслями; он был так хорошо настроен своими розовыми мечтами о счастливом будущем с любимой им милою, прелестною, нежною девушкой, и эти мысли и мечты так далеки были от того, о чем только что шла речь здесь! Тайная канцелярия (Густав знал, слышал, по крайней мере, что значат эти слова), розыск, свалка в аустерии, какой-то полупьяный князь и избитый им до кровавых подтеков сыщик, – какая неизмеримая бездна была для Густава между всем этим и той, о которой он думал и говорить о которой пришел теперь к брату.

И сколько раз бывало уже это – сколько раз он приходил так, настроенный самым счастливым образом, и это счастливое настроение неизменно уничтожалось под влиянием атмосферы, окружавшей грозного правителя, каким все считали его брата.

Но разве неизбежно было это, разве нельзя было кротостью победить неправду, разве необходимы были все эти крайние, то есть казавшиеся Густаву крайними, меры?

Да, перед его братом трепетали, льстили ему и боялись не только его гнева, но даже косого взгляда; но Густаву случалось невзначай, неожиданно несколько раз перехватывать доносившиеся до него заглазные речи о брате. И как жестоки, как злобны были эти речи! И как тяжело было Густаву то, что он не мог, по совести не мог назвать их клеветой и сказать, что это – ложь, неправда! Он должен был скрепя сердце сделать вид, что ничего не слышит, и подавить в себе поднимающуюся досаду, промолчать.

Сколько раз он хотел поговорить серьезно с братом, но никогда у него не хватало духу сделать это, и не потому, чтобы он боялся Иоганна, нет, но потому, что брат всегда так ясно, просто и весело смотрел ему в глаза, такую уверенность в собственной правоте и безупречности дышали каждое его движение и каждое его слово, что при встрече с ним и при взгляде

на него у Густава пропадало всякое сомнение в справедливости его, и он невольно забывал все доводы и убеждения, которые приготавливал бывало.

И теперь он ничего не мог сказать брату. Но переход, который произошел в нем, после тихой радости мечтаний о семейной жизни, был чувствителен для него и словно тисками сжимал ему сердце. Он закрыл рукою лицо.

– Ах, Иоганн, Иоганн! – вырвалось вдруг у него. Герцог открыл удивленно глаза, поднял брови и, взглянув на Густава, спросил его ровным и спокойным голосом:

– Что с тобою, чего ты?

XI. Оправдания герцога

Густав ответил не сразу.

– Вот видишь ли, – заговорил он, как и брат, по-немецки, – я давно хотел сказать тебе... Неужели же нельзя без этого?... То есть я не обижать тебя хочу, но я шел к тебе сегодня, и мне было так весело, я так был полон надежд... но об этом потом... теперь не могу... И вдруг опять эти сыщики и Тайная канцелярия... Мне это вот тяжело показалось...

Герцог пытливо и пристально посмотрел на него, потом как-то криво улыбнулся.

– Ты, наверно, думаешь о женщине теперь? – спросил он.

– О женщине? Почему о женщине? – удивился Густав.

– Потому что рассуждаешь, как женщина. А ведь тебе сорок лет! – неожиданно добавил герцог с тою покровительственной снисходительностью, с которою обыкновенно говорят старшие братья с младшими, по первым детским воспоминаниям считая их всю жизнь чуть ли не детьми. – Да, тебе сорок лет, – повторил он, – и ты – командир полка, герой войны – и гражданские мирные распоряжения тебя ужасают, как будто ты на войне не видал еще больших ужасов?

Густав никогда не любил длинных и сложных «приватных», как он называл их, разговоров. Все, что касалось военного артикула и с чем свyksя и был знаком он до мельчайших подробностей, было так просто и ясно, и ему так нравилась эта простота и ясность, что к хитрым доказательствам он чувствовал себя совершенно неспособным.

Но как ни претили ему эти доказательства, в данном случае ответ показался слишком ясен, и он ответил:

– Война – совсем другое дело: там я рискую своей жизнью одинаково, а тут – нечто иное... Наконец, на войне нельзя обойтись без этого, а при «мирных распоряжениях»... Ты ведь сам сказал «мирных»...

Бирон перестал улыбаться, серьезно взглянул на брата и произнес:

– Может быть, и не только может быть, но даже наверно настанет такое время, когда эти суровые средства будут не нужны и о них станут вспоминать с содроганием, точно так же, как может прийти пора, когда и война станет немыслима. Но пока это невозможно... Да, я не знаю, как обошелся бы кто-нибудь на моем месте без Тайной канцелярии... И потому то, что делается у нас, это – детская игра в сравнении хоть бы с судами в Австрии, например...

Убежденный тон, которым заговорил герцог, сразу победил и обрадовал его мягкосердечного брата. Побежденным он чувствовал себя уже заранее, потому что заранее знал, что не найдет доводов, противных тем, которые представляли ему, а обрадовался потому, что ему приятнее было в данном случае чувствовать себя побежденным. И потому он не возражал уже, но только спрашивал.

– Неужели и в Австрии существует это «слово и дело»? – спросил он.

– «Слово и дело»! – повторил герцог. – Да разве я завел его, разве по моим указаниям действует оно, разве мною составлены регламенты Тайной канцелярии? Система установлена государем Петром Первым, и если он, прирожденный государь этой страны, не мог обойтись без нее, то что же спрашивать с меня, чужестранца, поставленного волею судьбы во главе правления здесь? Посмотри архивы за время Петра, как работала при нем эта Тайная канцелярия... А меня винят, меня клянут... Знаю, знаю это, – подхватил Бирон, видя движение Густава, который хотел перебить его, – да, клянут и будут клясть и называть жестоким, и грудных младенцев пугать моим именем. А все почему? Только потому, что я – чужестранец здесь... Француз Ришелье был во сто тысяч раз жестче меня, потому что он знал и понимал, что в правителе кротость и доброта равносильны непростительной для него слабости, и слабости не простили бы ему, а жестокость простят, потому что он – француз, и французы простят ему... И, будь

на моем месте русский, и ему простили бы. А в чем я могу упрекнуть себя? Я, чужестранец, принял власть; но разве не отдаю я все свои способности, волю, мысли, какие только дала мне природа, на пользу этой страны? И что ж? Разве Россия унижена, разве к слову нашего двора не прислушиваются другие державы, не ждут, что скажет Россия? Я – немец, правда, по рождению, но кто осмелится сказать, что я подло пользуюсь врученной мне властью, что я служу интересам немецким, а не русским?

Бирон говорил, потому что брат слушал его не перебивая, но говорил он теперь не для брата, а скорее для себя.

Бывают минуты в жизни человека, когда ему вдруг выдается случай проверить самого себя, сговориться с собою, убедить, доказать себе, что он прав, что он поступает хорошо и не правы те, которые обвиняют его.

Бирон, окруженный почти раболепным низкопоклонством, под которым, чем усерднее было это низкопоклонство, тем глубже скрывались тайная злоба и ненависть, – отлично понимал, что он вечно находится среди врагов, и врагов самых невыносимых, потому что они боятся его и ищут удобного случая не для того, чтобы напасть прямо, но, как змея, впустить исподтишка свое жало. Он знал, что в толпе своих льстивых друзей он одинок и что только брат способен выслушать его и если не понять, то, во всяком случае, отозваться на его душевное одиночество. Вот отчего он и проверял себя перед братом.

И по тому, как слушал его теперь Густав, он видел, что он говорил хорошо и что всякий, кому дорога справедливость, должен был бы выслушать его, говорящего так, прежде чем произнести свой суд над ним.

– Ты говоришь, казни и пытки! – продолжал он, хотя Густав ничего не говорил и сидел, слушая молча. – Они не забудутся, а хорошее забудется. А что я сделал хорошего? Хорошо то уже, что всякий должен признать, что в то время, когда находился у власти чужестранец Бирон, Россия не была низведена с той ступени, на которую поставил ее русский государь-преобразователь... А что нового не сделал я ничего, так трудно требовать с меня новое, когда я один, когда людей нет вокруг меня... Отыскать, выбрать – я и выбирал: Остерман, Миних... а русских я не знаю... Меня называют честолюбцем, говорят, что я забочусь только о своих выгодах... Но будь я на самом деле таким, будь я исключительно честолюбец, разве я удержался бы на своем месте, разве давным-давно не сумели бы свергнуть меня сотни, если не тысячи завистников? Посмотри, они пресмыкаются и раболепствуют, потому что им самим нужно создать себе идола, и вот они создают его... и приписывают мне качества, которые хотят – сами хотят, понимаешь ли! – видеть в своем идоле... Высокомерие, гордость! Да как же мне относиться иначе хотя бы к людям, теперь вот неизвестно зачем наполняющим мою приемную? Я отношусь к ним с высокомерием; может быть, с презрением, и они довольны; они боятся меня, кланут, но они довольны... Относись я к ним иначе, я обманул бы их ожидания, и они еще больше кляли бы меня и не боялись бы. Им нужен предмет боязни, непременно предмет боязни и ненависти... И таких много. Исключения вроде Бестужева есть, есть хорошие люди, и впоследствии Россия далеко пойдет со своими людьми, но теперь ей главное нужно – образование. Однако для образования опять-таки нужны люди. Пока пришлось обратиться к военным, и вот заведены корпуса... Да мало ли что сделано!.. Но не в этом суть. Вся беда моя в том, что слишком много у меня судей и обвинителей, и вот даже ты, брат мой родной. А я вот что тебе скажу: оставь ты на мне мое трудное и неблагодарное дело и живи себе, благо ты для всех вполне безупречен, живи, наслаждайся жизнью, и я буду рад смотреть на тебя.

ХII. Семейное дело

Густав, слушая брата, все более и более снова приходил в состояние счастливого душевного равновесия, с которым пришел к нему и из которого его выбило появление Иволгина.

В самом деле, может быть, Иоганн и прав, быть может, и нельзя иначе, а если он прав, то, значит, это – необходимое зло, можно сожалеть, но не чувствовать на себе ответственности за него.

И теперь он мог говорить о своем деле.

– Ты советуешь мне наслаждаться жизнью, – усмехнувшись, ответил он брату. – Ну а что, если я не вполне еще счастлив?

Герцог Бирон снова сделал удивленные глаза.

– Ты несчастлив? – переспросил он, делая заметное ударение на слове «ты». – Чего же недостает тебе или что может тревожить тебя?

– Я не говорю, что я несчастлив, – поправил Густав, – я сказал, что мое счастье не полно. Это – разница.

Он как будто нарочно указал на эту неточность, чтобы сказать что-нибудь, но что-нибудь другое, а не то, что нужно было выговорить ему и о чем он думал все время.

Когда он шел к брату, ему казалось все очень ясно и просто; ему представлялось, что легко будет сказать об Олуньевой и просить о сватовстве к ней, но теперь, когда пришла минута выразить все вслух, подходящих слов у него не находилось, и он умышленно медлил.

– Ну, все равно! Почему твое счастье не полно? – сказал герцог.

– Вот видишь ли, все у меня есть – и почести, и богатство... но... но некому разделить их со мною...

– Так! – протянул Иоганн, поняв с полуслова. – И что же, тебе эта мысль пришла в голову именно потому, что ты чувствуешь одиночество, или ты почувствовал одиночество потому, что встретил кого-нибудь?

Густаву показалось, что не первое, а последнее соображение было истинным. И, несмотря на свои сорок лет, он почувствовал, что краска бросилась ему в лицо. Он опустил голову и стал неловко зачем-то рассматривать свои пальцы.

– Нет, – наконец с усилием проговорил он, – не потому, а потому, что я встретил...

Герцогу смешно было смотреть на брата. Он знал его влюбчивый характер и, судя по сделанным уже в прошлом году наблюдениям, мог теперь догадываться, о ком шла речь.

– Кто же она? – все-таки спросил он.

– Олуньева, молодая Олуньева...

– Ну, разумеется, не старуха, – подхватил герцог и рассмеялся. – Так вот как... – Он помолчал с минуту. – Но только, знаешь ли, милый мой, что ты нашел в ней?

Густав не ответил, но только самоуверенно и таинственно улыбнулся, как улыбаются влюбленные люди, когда пред ними высказывают сомнение относительно предмета их влюбленности.

– Ты мне прямо скажи, – несколько раздраженно проговорил он, – хочешь ты моего счастья или нет? Согласись, что я ведь – не мальчик и уже сам могу понимать...

Все это, все эти внешние выражения душевных движений, было давным-давно знакомо герцогу, видевшему на своем веку массу людей и привыкшему наблюдать их. А брата-то уж он знал как самого себя.

Противоречие в таких случаях только может испортить дело. Доказательствами и разумными доводами нельзя помешать вспышке увлечения.

Но герцогу Бирону важно было убедиться теперь, подпал ли его брат этой вспышке только, или в нем действительно зародилась серьезная любовь.

– Предположим, что я хочу твоего счастья, – произнес он самым спокойным своим тоном.

– Ну, если так, то помоги мне в этом деле...

– Да чем же я могу помочь тебе?

– Видишь ли, я посылал сегодня...

– Баронессу Шенберг, – подсказал Иоганн.

– Ну да, баронессу Шенберг, и она ездила к Олуньевым для того, чтобы разузнать предварительно. Она говорит, что если ты захочешь поехать, то отказа не будет.

Обстоятельства давали случай герцогу проверить свое сомнение относительно серьезности чувств брата скорее, чем он мог ожидать этого.

– Послушай, – заговорил он, – я вот что скажу тебе: ты хочешь, чтобы я ехал просить руки для тебя молодой Олуньевой, зная заранее, что если я поеду, то мне отказа не будет.

– Да, именно поэтому-то я и прошу тебя.

– То есть, другими словами, мне не посмеют отказать? Так, что ли?

– Так... – с запинкой подтвердил Густав.

– В таком случае, ты хочешь жениться насильно, выслав меня сватом? Хорошо, я поеду; из боязни ко мне там дадут согласие. Ну, а потом что? Свободного выбора не было, и хорошо, если Олуньева тебя тоже любит. Ну, а если нет?.. Тогда все дело станет непоправимым... Между тем, если ты сам... тогда это будет совершенно другое...

– Так ты отказываешься поехать? – перебил упавшим голосом Густав.

– Я ни от чего еще не отказываюсь, а говорю только, что если поеду я, то для той, которую ты любишь, не будет свободного выбора.

Расчет, с которым говорил герцог эти слова, заключался в том, что если Густав действительно любил Олуньеву серьезно, то эта серьезность любви помешала бы ему настаивать далее. Для истинного чувства показалось бы оскорбительно не только всякое насилие, но даже такой поступок, который давал бы повод подозревать отсутствие свободной воли.

Если Наташа любила или могла любить, то, кто ни поезжай, всякому бы она дала свое согласие на свой брак с Густавом, а если не любила, то человек, испытывающий к ней истинное чувство, не захотел бы насиловать ее волю, ставя ее в положение, при котором отказ был почти немислим. Поэтому герцог, желая проверить брата, объяснил ему, какой вид будет иметь его сватовство, и ждал, что он ответит: откажется ли от своей просьбы или, наоборот, будет настаивать на ней.

Но Густав не отказался, он продолжал упрашивать его не противиться и не мешать его счастью.

XIII. Tu, felix austria, nube³

Бирон обещал брату послать к Олуньевой извещение о своем приезде к ней, хотя это сватовство вовсе не улыбалось ему.

Правда, молодая Олуньева принадлежала к старинному дворянскому роду, была достаточно богата и, насколько помнил ее герцог, умела держать себя с должным тактом, достойным похвалы. Женою барона она была бы на своем месте. Но герцогу хотелось не этого.

Если, с одной стороны, он, окруженный врагами, вел с ними войну беспощадную и смертельную, то, с другой – намеревался упрочить свое положение посредством выгодных браков близких ему лиц.

Пока жива была государыня Анна Иоанновна, он был настолько уверен в твердости своего личного положения, что не считал нужным заботиться особенно о настоящем. Однако будущее часто тревожило его. Умри сегодня государыня (а она с каждым годом болела все более), то что станет с ним, ненавидимым всеми ее любимцем?

Он уже давно лелеял план женить своего сына на цесаревне Елисавете, и хотя трудно было осуществить этот план, но Бирон все-таки надеялся. Однако и при женитьбе его сына на цесаревне обстоятельства все-таки могли сложиться неблагоприятно для него. Родная дочь Петра, Елисавета Петровна, могла остаться и в последующее время такою же далекою от всяких государственных дел и влияния на них, какою была теперь.

Наследником престола являлся маленький Иоанн Антонович, недавно родившийся сын Анны Леопольдовны, родной племянницы государыни, которая выписала ее к себе и выдала замуж за принца Брауншвейгского с тем, чтобы их потомству передать престолонаследие. Бирону хотелось обеспечить себя каким-нибудь образом со стороны Брауншвейгской фамилии, и в этом отношении он рассчитывал на брата.

Но вместе с тем ему не хотелось огорчить Густава отказом исполнить его просьбу, тем более что со своей стороны он в данный момент не мог пока предложить ему иного выбора, так как не имел в виду ничего определенного.

Поехать к Олуньевой ему ничего не стоило. И предчувствие, которым он руководствовался издавна и которое никогда не обманывало его, говорило ему теперь, что ехать можно, что все выйдет лучше, чем он ожидает.

Поэтому он на другой же день после своего разговора с братом послал к Настасье Петровне сказать, что будет у нее через два дня.

Ровно в назначенное время карета герцога с замысловатым гербом, на щите которого были изображены и львы, и олени, и черный ворон, и половина двуглавого орла, остановилась у подъезда олуньевского дома. Гайдуки, соскочившие с запяток, и лакеи, ожидавшие приезда высокого гостя на крыльце, бросились к подножке и дверцам.

Старуха Олуньева со строгим, официальным и не совсем спокойным лицом встретила пожаловавшего к ней владетельного герцога на лестнице, сделала ему по этикету поклон и проводила в парадные комнаты.

Проделав наконец все, что требовалось правилами приличий, они уселись друг против друга со смутным чувством неизвестности конца того серьезного разговора, ради которого приехал Бирон. Главное – он находился в сильном сомнении: ему неприятно было бы, если его сватовство увенчается успехом, но вместе с тем он ни за что не мог допустить и отказа, который равнялся бы для него оскорблению.

Первым начал говорить Бирон. Он сразу принял официальный тон, которого требовали не только его положение, но и предмет его посещения. Он, по обычаю, распространялся, хотя

³ Ты, счастливая Австрия, заключай браки (лат.).

довольно сухо и сдержанно, о достоинствах племянницы Настасьи Петровны, потом сказал несколько слов о своем брате и кончил речь предложением барона Густава Бирона, который поручил-де ему, как брату, просить руки девицы Натальи Дмитриевны Олуньевой.

Настасья Петровна слушала его молча, потупив глаза и слегка прикусывая губы, но все время покачиваясь вперед, как будто была совершенно во всем согласна с герцогом. Когда же он кончил, она заговорила, собравшись с духом:

– Конечно, мы весьма счастливы предложением брата вашей светлости, это – такая честь... но...

Бирон поднял брови. Он ждал, что последует за этим «но».

– Но, – продолжала Олуньева, – Наташа, моя племянница, девушка с большими странностями... она раз навсегда решила, что не рождена для замужней жизни... она...

– Что же, она в монастырь собирается? – осведомился герцог, чувствуя, что ничего не имел бы против такого намерения молодой Олуньевой.

– Нет, герцог, она уже замужем, – проговорила вдруг Настасья Петровна.

Герцог медленно поднял голову и спросил:

– То есть как же это? Замужем и отказалась от замужней жизни?

И Олуньева рассказала, что ее племянница вчера обвенчалась с одним человеком хорошей фамилии, но с него взята подписка в том, что он даст ей полную волю.

Наташа действительно была обвенчана. Ее свадьба в далекой церкви на Выборгской стороне произошла еще вчера.

Посланный от герцога с извещением, что он будет у Олуньевых, явился к Настасье Петровне как раз во время ее разговора с Наташей, и это извещение решило дело.

Олуньева торжествовала теперь, торжествовала не столько возможностью отказать самому герцогу Курляндскому, явившемуся к ней лично, сколько тем, что Наташа была теперь, по ее мнению, обеспечена на всю жизнь в смысле своего счастья. Правда, после ее рассказа герцогу была одна минута, когда она не знала еще, как он принял это все, и она не то что боялась, но чуть ли не впервые в жизни почувствовала себя в некоторой очень неприятной неизвестности. Впрочем, эта неизвестность сейчас же исчезла. По лицу Бирона, по его усмешке, почти перешедшей в полный смех, Настасья Петровна поняла, что невозможность женитьбы его брата на ее племяннице не только не сердит его, но, напротив, вполне соответствует его видам.

Почему это было так, она не дала даже себе труда Догадываться, но, убедившись, что все обстоит благополучно, сразу овладела собой. Теперь, когда всякая опасность миновала, в ней снова проснулась прежняя бой-баба Настасья, какую знали ее при дворе и в обществе.

– Вы вот что, ваша светлость, – сейчас же заговорила она со своею особенною, подлаженною под прямоту и добродушие манерою, – вы на нашу бабью дурость не гневайтесь! Конечно, кабы знали мы, что такая честь предстоит, тогда другое дело... ну, да уж, видно, судьба.

Герцог с недоумением качал головою. Как ни приятна лично для него была эта странная судьба, потому что она способствовала в дальнейшем осуществлению его планов, но он все-таки не мог не прийти в крайнее удивление по поводу всего услышанного. Правда, это было в духе русских, среди которых Бирону случалось встречать оригиналов, способных на вещи, непостижимые его немецкому уму, но такой случай он и придумать не мог. И вместе с тем он знал, что это вполне возможно, что такие свадьбы бывали, хотя и в силу совершенно других, не имеющих ничего общего с настоящим делом причин, но все-таки бывали.

Он не сомневался в том, что Олуньева говорит правду, и, заинтересованный этою свадьбою, стал расспрашивать подробности.

Настасья Петровна рассказывала все с большою охотою.

Вообще, все устроилось совершенно так, как она хотела. Была одна только подробность, не понравившаяся ей немножко, и она умолчала о ней перед Бироном.

Эта подробность заключалась в том, что князь Чарыков-Ордынский наотрез отказался от денег, предложенных ему за его свадьбу. Такой его характер заставил призадуматься было Настасью Петровну, и, пользуясь тем, как Бирон принимал ее рассказ, она в удобную минуту ввернула-таки маленькое словцо:

– Вот что, ваша светлость! Упрячь, пожалуйста, мне этого самого барина подальше... потому вину на нем все равно можно найти.

– То есть как это «упрячь»? – переспросил Бирон.

– Ну да так, я не знаю... может, я и не то болтаю, – поспешила заговорить Олуньева, видя, что ее «слово» принимается не так, как она желает этого, и сейчас же перешла на другое.

– А как зовут... как фамилия теперь вашей племянницы? – спросил Бирон.

Настасья Петровна назвала.

– Чарыков-Ордынский... князь Чарыков-Ордынский? – вспомнил герцог. – Но ведь он уже разыскивается... Да, он разыскивается, и по очень серьезному делу...

«То-то серьезному!» – подумала Олуньева, и, когда уехал Бирон и она вспомнила весь свой разговор с ним, – она осталась положительно убежденною, что герцог схитрил перед нею, поиграв только в справедливость.

«Сначала это ни за что, дескать, – соображала она, – а потом на тебе, и дело нашлось...»

Бирон же уехал от Олуньевой с серьезным сомнением, не рехнулась ли Настасья Петровна на старости лет.

Но как бы то ни было – действовала ли она в здравом уме или была помешана, – устроенная ею свадьба племянницы как нельзя лучше выводила герцога из затруднительного положения, и он, сидя в своей карете, уже искал брату такую невесту, которая более соответствовала бы его собственным желаниям, чем эта бедняжка Олуньева.

«Bella gerant alii – tu, felix Austria, nube!» «Пусть войны другие ведут, ты ж, счастливая Австрия, заключай браки!» – вспомнил он известный стих и не мог сдержать довольную улыбку.

XIV. Идиллия

Как ни была странна и непонятна для Бирона, а может быть, и для всякого другого постороннего человека свадьба молодой Олуньевой, но для ее домашних людей это являлось весьма естественным. Вся дворня жалела Наташу, сочувствовала ей и вместе с тем находила, что иначе трудно было поступить. На их взгляд, разумеется, лучше было обвенчаться с захудалым князем, который вдобавок еще давал жене вольную, чем выходить за Бирона и вступать в его семью.

Как только баронесса Шенберг побывала у Олуньевой и та после ее визита поднялась наверх к племяннице, две горничные, почуяв что-то неладное, кинулись к замочной скважине и подслушали весь разговор Настасьи Петровны с Наташей. Затем, когда Олуньева призвала к себе Григория Ивановича и стало известно, какое поручение дала она ему, дворня поднялась на ноги, и начались толки и пересуды.

К старухе Авдотье Саввишне, бывшей при Олуньевой чем-то вроде доверенного лица и известной в доме под именем просто Дунюшки, то и дело забежали с разных сторон с расспросами: правда ли, что биронский супостатский брат сватается к барышне, и правда ли, что ему утрут нос таким фортелем, которого он и не ожидает? Как ни отнекивалась Дунюшка, что ей ничего не известно, как ни гнала любопытных от себя прочь, вскоре выяснилось, что «фортель» действительно готов осуществиться.

– Ну и молодец же Настасья Петровна! – говорилось в людской. – То есть вот ловко дело-то обдeldывает!.. Важно... Право, важно!..

– Еще бы! – подхватывали с другой стороны. – А то иди в холопы к этому Бирону...

– Да что в холопы к нему?! – пояснил Григорий Иванович. – Он нас-то если возьмет за барышней, так своим холопам поставит в услужение, вот что!.. А князь Чарыков-Ордынский все-таки – русский князь.

– Ну уж тоже! Видели мы!.. Князь!..

– А ты вот поговори у меня! – огрызался Григорий Иванович и шел хлопотать дальше.

В самый день свадьбы, когда «молодая» вернулась из церкви, одна из горничных, Даша, побежала к француженке-модистке, работавшей на Олуньевых и сшившей Наташе платье к венцу в двадцать четыре часа. Даша обещала непременно прибежать, чтобы рассказать своим знакомым мастерицам все подробно о свадьбе. Работа уже кончилась, но мастерицы в ожидании ее не расходились.

– Ну, девушки, – вбежала к ним Даша, – кончено дело: обвенчали...

– Обвенчали? Быть не может!.. Так и обвенчали? – слышалось со всех сторон. – Как же это?

– Да так. Только вот сейчас из церкви привезли.

– Ты была?

– В церкви-то? Куды!.. Не пустили... Да и далеко, на Выборгской стороне... Нет, мне Гаврила, выездной, всю подноготную доложил... Он с каретой ездил.

– Ну, что ж она?

– Барышня-то? Да, конечно – наша сестра... хоть и свадьба эта, выходит, не настоящая, а так только, нарочно, – ну а все-таки боязно... почитай, без памяти все время была...

– Ишь ты!.. Ну, а он?

– Бравый, говорят, даром что пьяница, а бравый!.. Григорий Иваныч, дворецкий наш, хвалят: «Ничего, – говорят, – тысячи рублей не взял...»

– Какой тысячи?

– А что давали ему.

– За что?

– За свадьбу.

– Так чего ж он не взял?

– Значит, не хочет. Такое уж благородство, значит: выручил от рук бироновских, ну а там платы не нужно. Так и Григорий Иванович объяснял.

– А я бы так, право, взяла!..

Пока говорили так девушки, одна из них тихонько и незаметно пробралась к двери, приотворила ее и выскользнула вон. Затем она опрометью кинулась через двор в так называемый сад, то есть просто огороженное, заросшее деревьями пространство, принадлежавшее к дому, который нанимала француженка для своей мастерской. Со стороны двора тут находились покосившаяся от времени беседка и скамеечка, но дальше, между деревьями и кустами, росли лопух и сорная трава. Швея быстро, уверенно, видимо знакомою дорогою, пробралась между кустов и древесных стволов к тыну, шедшему вдоль задней стороны сада.

Вечер был тих; солнце уже село, но перламутровый отблеск заката еще захватывал часть неба, на котором высыпали бесчисленные, с каждой минутой становившиеся ярче августовские звезды. Деревья не шевелились, и их листва казалась причудливым темным кружевом, неподвижно, словно на плоскости, застывшим.

Из-за тына навстречу девушке послышался шорох.

– Груня, ты? – чуть внятно спросили оттуда. Она подала голос.

За тыном задвигались, и вслед за тем наверху его показался темный абрис человека, который перекинул ноги и соскочил вниз.

– Что ж долго так? – заговорил он (это был измайловский солдат). – Я уж думал, что не придешь нынче.

– Нельзя было раньше, там Дашка олуньевская прибежала, о свадьбе рассказывает, барышню-то их нынче венчали.

– Что ж, любопытно послушать было?

– Чего мне слушать то? А говорю, нельзя выйти было, потому там все собрамшись и мадама в магазине.

Солдат помолчал. Он опустил на полусгнивший пенек и притянул к себе Груню.

– Нет, не моги, – отстранилась та на его движение поцеловать ее. – Пока не твоя, не моги!

– Ах, Груня! – ответил он. – Кабы на то моя воля – давно бы моя была... Вот дай срок, отец откупит...

– Откупит... как же!.. Может, и откупил бы раньше, а теперь, гляди, туда тебя упрячут, что никакими деньгами не управишься. А еще тоже говоришь, мила я тебе... Была бы мила – не крутил бы.

– И сам не знаю, как это вышло тогда... – заговорил солдат, опустив голову. – С радости вышло, вот что!.. Обрадовался я, что отец простил, деньги прислал, и пошел... В первый раз в жизни пьян напился.

– Олуньевскую-то, – перебила Груня, – сегодня с твоим князем венчали.

– С каким князем?

– А вот что вызволил тебя. Солдат поднял голову.

– Что ты?! Не врешь, Аграфена? Как же это? Это ему непременно такое счастье за доброе его дело пришло... Будь я один – пропал бы... право, пропал бы.

– Да и пропадешь еще. Груня сделала вид, что сердится.

– Ну что ж, один конец. Ну, а пока что все же я благодаря ему жив еще.

– Ты мне вот что скажи, – начала Груня серьезно, – расспросил ли ты, что тебе теперь будет за это, а?

– Писарь наш полковой говорит – я ему семь гривен дал, – что по меньшей мере батогами на площади отдерут и в Сибирь угонят.

– Ты бы убег, – сказала Груня, вздрогнув.

– И убежал бы, да тебя жаль.

– Так ведь все одно угонят. Уж раньше не жалел, так что ж теперь-то? А пока что слышно?

– А пока никаких бумаг в полк ниоткуда нет. Писарь говорит, что пришлют скоро... Ах, Груня, что толковать об этом!.. Дай срок!.. Может, последний раз видимся. – И он притянул девушку к себе еще раз.

Она не сопротивлялась.

– Слушай, Кузьма, – сказала она ему, когда он, простясь с нею, перелезал тын обратно. – Если тебя в Сибирь угонят, я за тобой пойду.

XV. Указ тайной канцелярии

– Я повторяю тебе, что это невозможно, и, как хочешь, я своего солдата не выдам и указа не приму. Хоть ты сердись или нет, но я не считаю себя обязанным принимать указы Тайной канцелярии, – сказал Густав Бирон, сильно горячась и махая руками сидевшему перед ним брату, который так же, как Шенберг, приехал к нему прямо от Олуньевой.

Дело шло о только что присланном барону Бирону как полковому командиру указе Тайной канцелярии, требовавшей немедленного ареста и выдачи солдата Измайловского полка Кузьмы Данилова за учиненные им «предерзостные против Ее Императорского Величества поступки».

Герцог, понимавший истинный смысл волнения брата, спокойно сидел в кресле и с улыбкою слушал выражения его горячности.

– И никакого тебе дела нет до солдата, – возразил он. – Этого солдата нужно отправить в Тайную, и ты отправишь, а сердиться ты оттого, что с тобой Олуньевы такую шутку сыграли...

Густав вдруг круто обернулся.

– И не напоминай мне о ней, слышишь – не напоминай. Я о ней теперь и думать не хочу. – Но, несмотря на то что он говорил, что не хочет и думать о Наташе, – как только речь зашла о ней, он ближе подошел к брату и снова повторил то, что уже спрашивал его несколько раз теперь: – Нет, скажи, пожалуйста, ведь это же – просто сумасшествие? сумасшествие?..

Герцог, в десятый раз пожав в ответ ему плечами, произнес:

– Если хочешь, со стороны старухи сумасшествие, ну а молодую нельзя винить.

– Да как же не винить, как же не винить-то? Ведь я же ухаживал за ней, я так был уверен!..

– Разве вы объяснялись? Разве она обещала тебе?

– Нет, обещать не обещала... но все-таки...

– Ну вот видишь! Да и мало ли хорошеньких женщин в свете? Ну, не она, другую найдешь. Да, наконец, тебе никто не помешает продолжать и за нею ухаживать. Она теперь свободна будет, самостоятельна... Ты едешь на маскарад к Нарышкину?

– Ах, какой тут маскарад! Оставь, пожалуйста!.. До маскарада ли мне?

И при имени Нарышкина у Густава живо воскрес в памяти тот первый вечер, когда он увидел Наташу.

– Она там наверное будет, – продолжал между тем герцог. – Я советую тебе ехать и спокойно быть, как прежде.

– И что же, он красив по крайней мере? – перебил Густав.

– Кто? Муж Олуньевой? Право, ничего не могу сказать тебе. Знаю, что он – пьяница.

– Пьяница! – подхватил Густав и расхохотался громче, чем мог это сделать при естественном смехе. – Да, пьяница, шляющийся по кабакам... Хорош муж!.. И как это ты, который все знаешь, не узнал об этой свадьбе?

– Неужели ты думаешь, что я могу заниматься этими пустяками? – опять улыбнулся герцог. – И без того много вздора приходится выслушивать.

– Для тебя вздор, а для меня – весьма серьезная вещь. И как мне не донес никто?

– Значит, некому было. Ну, прощай, однако, мне пора! Повторяю тебе: брось думать об этом! – И с этими словами герцог, простившись с братом, вышел из комнаты.

Он видел, что чувства Густава к Олуньевой были похожи скорее на каприз, чем на серьезную, обдуманную и взвешенную любовь, какую мог полюбить человек его лет, и, как ни горячо принял он известие о ее свадьбе, все-таки это было далеко не то, что должно было быть при ином положении вещей.

«Посердится и перестанет!» – решил герцог и вернулся домой, весьма довольный своим утром.

Густав действительно сердился, но именно только сердился. Было задето его самолюбие, ему неприятна была неудача, обидно, что так хорошо сложившиеся планы семейной жизни рушились; казалось же ему, что он в отчаянии и что это его капризно-сердитое состояние и есть самое настоящее выражение обманутой любви.

Брат уехал, а он все еще ходил по кабинету и, изредка останавливаясь и жестикулируя, произносил вслух обидные для человечества вещи. Он был взбешен, и ему требовался какой-нибудь осязательный, определенный предмет для выражения своего гнева.

«Что-то было такое! – вспомнил он, продолжая ходить, что-то обидело его помимо еще свадьбы Наташи. – Да, – вспомнил он, – этот указ... указ из Тайной канцелярии».

И он взял со стола брошенный им указ и перечитал его, как будто желая проверить, действительно ли эта бумага была так обидна, как она показалась ему сначала?

«Какой это Данилов? – стал припоминать он. – Молодой он или старый? И что он сделал такого? Кузьма... Данилов... Нет, положительно не помню. Да где же их всех упомянуть? А ведь вот тоже человек, и у него, верно, есть свои горести и были радости тоже. Я вот тут мучаюсь, потому что мне неприятно, что все это вышло так, но мне хорошо у себя дома, тепло... и будет, в сущности, и потом, а ему-то... Хорошо, если он оправдается в Тайной канцелярии...»

И ему вспомнились сейчас же собственные слова о том, что он не выдаст этого солдата, и спокойный ответ брата, принявшего эти слова почти в шутку.

Действительно, Густав, начав теперь думать о Данилове и придя вследствие этого в более спокойное состояние, должен был согласиться, что только в шутку он и мог сказать это.

Каким образом он мог «не выдать» Кузьмы Данилова? Если бы он решился на это, ему пришлось бы оставить командование полком, а Кузьму Данилова все-таки взяли бы.

«Да, может быть, этот Кузьма Данилов и правда негодяй, достойный своей участи? Что же беспокоиться о нем?.. Но все-таки Тайная канцелярия не смеет присылать в полк указы... разумеется, не смеет».

И, чувствуя снова прилив поднимающейся злобы, Густав подошел к столу и сел писать проект уведомления в Тайную канцелярию о том, чтобы она благоволила впредь относиться в Измайловский полк не указами, которые принимать не будут (он так и поставил: «которые принимать не будут»), а промемориями. «Понеже, – писал он по-немецки для перевода своему адъютанту, – полк гвардии не под именем своей канцелярии зависит, но канцелярия под именем полку обстоит, и в оном присутствует Ее Величество полковником».

Составив ядовитую для начальника Тайной канцелярии генерала Ушакова записку, Густав несколько успокоился и тут же на полях присланного «указа» сделал пометку об аресте Кузьмы Данилова и отправлении его куда следует.

XVI. Княгиня Чарыкова-Ордынская

Наташа совершенно не помнила, как прошла ее свадьба, как одели ее, посадили в карету, ввели, или – скорее – внесли, в церковь и что было потом. Все это прошло Для нее как во сне, как в тумане. Очнулась она уже княгиней Чарыковой-Ордынской.

Ей не хотелось выходить замуж, просто не хотелось ни за кого, потому что никого она не любила и чувствовала себя отлично в девушках, начав выезжать в свет только первый год. Ей еще более не хотелось выходить за Бирона, но и венчаться с каким-то неизвестным князем, найденным Бог знает где, – тоже не хотелось ей.

Однако в то же время выбора ей не было. По крайней мере ее уверили, что выбора ей нет, что, если она не обвенчается с Чарыковым, Бирон, брат страшного герцога Бирона, насильно возьмет ее за себя.

Она не спала тогда целую ночь после приезда баронессы Шенберг. Потом произошел этот разговор с теткой, поразившей ее смелым и небывалым планом, и не успела опомниться она, как пришли сказать, что послезавтра явится к ним сам герцог. Очевидно, он приедет с предложением. Наташа схватилась за голову руками и с воплем отчаяния повалилась на кресло.

С этих пор и до самой той минуты, когда она очнулась уже обвенчанная, все кружилось у нее в голове, и она мало что помнила.

Были минуты просветления, и в эти минуты ей хотелось освободиться от охватывающего ее ужаса и страха, что с нею будет; она пробовала оглянуться кругом, рассеяться и видела, что все суетились в доме, бегали, торопились. Дуняша ходила из комнаты в комнату, беспрестанно смахивая наворачивавшиеся у нее слезы, тетка с сурово нахмуренным лицом отдавала приказания с уверенностью и сознанием того, что она знает, что делает.

Эта уверенность, слишком подчеркнутая, показная уверенность тетки, слезы Дунюшки, сдержанно-почтительная суетня людей снова напоминали Наташе о ее положении, и снова казалось ей, что не свадьбу готовят ее, а похороны.

В самом деле, несмотря на суетню, было что-то тихое, подавленное в доме. Ходили на цыпочках и говорили шепотом.

Казалось, имей Наташа достаточно духу, чтобы сказать, что она не хочет этой свадьбы, или найдись кто-нибудь посторонний, который сказал бы этим людям, чтобы они опомнились, и они опомнились бы и, может быть, ужаснулись бы перед тем, что делают. Но Наташа не имела силы говорить, а посторонних не было никого, и дело было доведено до конца бесповоротно.

Очнувшись, Наташа вовсе не ощутила той свободы и радости, которые были обещаны ей. Хотя во время венчания она не подымала глаз и едва ли, по своему внутреннему состоянию, могла видеть что-нибудь отчетливо, ей все-таки казалось, что она видела и запомнила лицо того человека, имя которого она носила теперь таким странным образом. Она видела его потертый наряд, грубый мужской профиль с черными усами, горбатым носом и длинными волосами. Он не был ни противен, ни антипатичен ей, но вместе с тем он был ей чужд, страшен и далек.

Она вздрогнула вся, от головы до пяток, когда кто-то в первый раз назвал ее «ваше сиятельство».

Весь разговор тетки с Бироном она выслушала, стоя за дверью, и то выражение лица, которое она увидела у герцога, когда Настасья Петровна сказала ему о свадьбе, на одну секунду вознаградило ее, но Бирон уехал, и тщеславное удовольствие быть немножко хитрее его быстро прошло, и тяжелое чувство тоски снова заняло его место.

Наташа совершенно не знала, как себя вести и держать в новом для нее положении княгини Ордынской. Тетка сказала ей, что она будет жить на отдельной половине, что для нее нарочно отделают несколько комнат, которые поступят в полное ее распоряжение, что она

будет тут принимать кого хочет и когда хочет и что весь штат дворовых будет к ее услугам, и экипажи, и лошади.

Все это заняло Наташу, но не надолго. Она, зная тетку, видела, что и та задумывается о чем-то.

Действительно, Олуньева беспокоилась о том, как будет вся эта история принята при дворе. Правда, герцог, как оказалось, принял свадьбу ее племянницы как нельзя было желать лучше, и потому являлась серьезная надежда на то, что все обойдется благополучно.

Настасья Петровна в тот же день, когда был у нее Бирон, вечером была приглашена во дворец. Она приехала оттуда радостная и сияющая. Государыне, которая любила подобные проделки, вся эта история очень понравилась, она много смеялась и выразила желание, чтобы «молодая» представилась ей. Этого было более чем достаточно. Теперь не могло быть сомнения, что она всюду будет принята и обласкана даже.

Настасья Петровна радовалась этому, но Наташа, проводившая дни одна, оставаясь наедине со своими мыслями, Думала, разбирала и приходила к нерадостным заключениям. Ведь если обрадовалась так тетка тому, что императрица одобрила эту свадьбу, то, значит, не прикрой государыня своей милостью ее замужества, ее считали бы, пожалуй, отверженной. Значит, тут было что-то худое, и с этого времени Наташа, начав думать, во всем находила одно неприятное для себя.

Она представилась государыне. Та очень милостиво говорила с ней и подарила браслет, но Наташе все-таки всюду чудились косые взгляды, пожалуй, насмешки, и она не могла найти в себе прежние веселость и беззаботность.

Представление было неофициальное. Настасья Петровна провела Наташу прямо с маленького крыльца во внутренние комнаты, никто их почти не видел. И Наташа рада была этому. Выходило, что она стала свободнее в смысле внешних запретов, но зато сама внутренне потеряла охоту к этой свободе. Она даже к приятельницам своим не показывалась.

Наконец пришла если не необходимость, то, во всяком случае, настоятельная возможность выехать ей на люди. Определенный в ее штат собственный теперь лакей подал присланный на ее имя пригласительный билет на маскарад к Нарышкину.

Билет был напечатан на толстой бумаге, и на нем были выгравированы танцующие и сидящие за столом маски. Тут же были изображены герб хозяина и номер билета.

Наташа, рассмотрев билет, невольно улыбнулась тому, что на билете значилось ее имя, теперешнее, новое ее имя, – княгине Наталье Дмитриевне Чарыковой-Ордынской. Она прочла несколько раз эту надпись и по привычке пошла к тетке спрашивать относительно этого приглашения.

Та разыграла любезно-поощрительную отчужденность.

– Милая моя, – сказала она, – делай как хочешь: хочешь – поезжай, хочешь – нет, от тебя вполне зависит. Что ж ты ко мне-то приходишь?

Наташа видела, что тетка говорит это, только чтобы доставить ей удовольствие.

– Ну да, я знаю, знаю, – нехотя перебила она, – но как вы посоветуете?

– А совет мой – ехать. И вот почему: ты как будто, хотя я не знаю с чего, боишься из своего гнезда вылезать, робеешь, а тут, как нарочно, маскарад, значит, ты под маской будешь, – ну, не так зазорно для первого раза, а там скорехонько и приобькнешь.

– А вы поедете?

– Собираюсь... Если у тебя место в карете будет, так возьми меня с собой.

«И зачем это она опять? – подумала Наташа на последние слова тетки. – Утешить меня все хочет».

Но соображение Настасьи Петровны относительно удобства своего появления в маскараде Наташа приняла к сведению. В самом деле, не вечно же было сидеть ей дома.

XVII. Князь Чарыков-Ордынский

Несчастный, спившийся, как все считали, князь Борис Андреевич был сыном князя Андрея Чарыкова-Ордынского, бывшего при Петре Великом воеводою, но вскоре оказавшего совершенно негодным к управлению.

«Ордынский, – писал про него Петр, – управление государственных дел столь остро знает, сколь медведь на органах играет», – и отставил его от должности.

Ордынский был если не богат, то, во всяком случае, настолько состоятелен, что мог выстроить себе дом на Васильевском острове (лучшая часть петровского Петербурга) и жить там с честью.

Петр, не терпевший плохих дельцов, забравшихся не на свое место, и нуждавшийся в представительных обывателях для своего города, поселил Ордынского в Петербурге и отвел ему место под постройку дома.

Ордынский выстроил дом и зажил барином. Он мог бы на свои средства дожить век припеваючи, если бы от вечной праздности и происходящей отсюда скуки не начал искать развлечения в вине. В особенности после смерти жены он пристрастился к пьянству.

Впрочем, это пристрастие было совершенно особенное: князь никогда не напивался один. Всегда являлись у него собутыльники, и он, пьяный, устраивал над ними разные потехи.

В минуты грусти он с налитыми кровью глазами ударял по столу кулаком и кричал «вон». Выгнав гостей, начинал плакать. Но зато если он чувствовал в себе прилив веселости, тогда присутствующим приходилось плохо. Приносили пистолет, и, приставив его в упор кому-нибудь в голову, он заставлял несчастного, под угрозой выстрела, выпить ковш до конца не переводя дыхания. Или напоит еще кого-нибудь пьяным, разденет, вымажет медом, вываляет в пуху и выгонит на улицу.

И, несмотря на это, все-таки находились люди, охотно пившие с ним и являвшиеся к нему по его зову.

Иногда, напившись, князь велел закладывать лошадей, едва лишь обьеженных, и, став в сани, правил ими.

Борис помнил себя еще маленьким, совсем маленьким мальчиком. Он сидит наверху у матушки в горнице (она была жива тогда), и няня тут же с чулком рассказывает сказку. Вдруг дверь отворяется. Огромная, сильная фигура отца показывается на пороге. Он кричит что-то и машет рукою. Борис чувствует, что дело касается его, и инстинктивно жмет к матери, но отец схватывает его, подымает на руки и бежит с ним вниз. Мальчик не смеет отбиваться и силится лишь отвернуть свое лицо от сильно пахнущего вином рта отца. А тот сносит его с лестницы на улицу, вскакивает с ним в сани, и они несутся сломя голову до тех пор, пока Борис не теряет сознания.

Потом помнит он еще позднейшее, более тяжелое время.

Матери уже нет в живых. Отец, мрачный, ходит по дому, курит одну трубку за другою и пьет огуречный рассол и квас.

Запах вина он не может переносить.

Но вот на него находит, и наступает период запоя. Являются откуда-то чужие, громко, бессвязно говорящие охрипшими голосами люди, их много, очень много как будто... Им всем и отцу подают белые полотняные халаты («саваны», как называл их отец), и они начинают пить, пить. Борис не знает, куда деваться в это время; он бежит к себе наверх, ложится в постель и сует голову в подушки, но тут ему кажется, что под ухом у него стучат бутылки и стаканы и в глазах мелькают белые халаты.

Впоследствии, к концу своей жизни, старый князь стал страдать чем-то вроде умопомешательства. Он стал бояться, в особенности во время периодов пьянства, что его непременно убьют и что убийцы подкуплены его покойной женой.

Эта боязнь дошла у него до того, что он велел в саду у себя выстроить беседку с обширным потайным подземным этажом и соединить со своим кабинетом эту беседку особым, тоже секретным, ходом. Кроме того, из нее был проведен выход за ограду сада, в противоположную сторону от дома.

Все эти затеи, а в особенности расходы по пьянству, сделали то, что после своей смерти (он умер скоропостижно) князь Андрей Чарыков, кроме страшной физической силы и полуразвалившегося вследствие отсутствия с самой постройки ремонта дома, ничего не оставил сыну в наследство.

Борису было шестнадцать лет, когда умер его отец. Он остался вполне одинок. Родных он не знал никого, да и вообще не знал хорошенько, были ли они у него. Знакомых у отца давным-давно не было. Тех, которые с ним пили мертвую, нельзя было считать за знакомых, да и обратиться к ним ни с чем нельзя было.

Крепостные были распроданы, разбежались или откупились сами. Имение пошло за долги. Остался один дом, но и его никто не хотел покупать, потому что тогда в Петербурге оказалось домов больше, чем в том ощущалась потребность.

Ни служить, ни заняться чем-нибудь Борис Андреевич не мог, и не мог не по своей вине — он не был подготовлен ни к чему.

И вот мало-помалу в силу сложившихся обстоятельств он стал тем, чем явился в аустеррии, когда встретился с ним бывший дворовый его отца.

Он жил изо дня в день, не помня, что было вчера, и не зная, что будет завтра.

Разумеется, никогда не думал он о женитьбе, и странное предложение, сделанное ему, не только застало его врасплох, но и пришлось под лихую, расходившуюся после случая с Измайловским солдатом руку.

Борис согласился, думая, что из этого выйдет развеселая история, что выкинет он этим такую штуку, что ахнут даже те, которые привыкли к его выходкам. Ему именно приятно было удивлять людей своим поведением. Ему было тяжело и вместе с тем приятно, несмотря на всю грязь, в которой он возился, быть все-таки не совсем заурядным в сравнении с толпой, выделяться из нее, потому что он чувствовал себя выше этой толпы. Судьба, наделившая его способностями незаурядными, отняла у него всякую возможность применить их на деле. И вот он бросил вызов этой судьбе и повел свою бесшабашно-безалаберную жизнь. Однако эта жизнь начала становиться однообразной.

И вдруг тут явилось предложение этой свадьбы. Чарыков обрадовался даже ему, именно как новой странности, как чудачеству, но вышло совершенно не то, чего ожидал он.

XVIII. Душа проснулась

Чарыков-Ордынский жил один-одинешенек в своем доме. Из слуг у него не было никого, и сам дом стоял почти весь с заколоченными досками окнами. Только в двух из них, с потрескавшимися и заклеенными стеклами, изредка показывался свет, когда князь Борис Андреевич возвращался к себе. Но это бывало редко. По неделям Ордынский пропадал без вести. В гости к нему никто не хаживал.

А в народе дом пользовался дурной славой. Говорили, что там кто-то ходит по ночам, стучит.

Прямо из церкви после свадьбы Ордынский вернулся домой пешком.

Прежде для него все неприятные минуты в жизни проходили именно тут, дома, и они обыкновенно совпадали с вольным или невольным отрезвлением. Он шел, бывало, домой, когда у него не хватало денег для того, чтобы продолжать пить, или когда находило на него такое уныние, что даже вино, карты и дебоши не могли заглушить в нем отчаяние, под влиянием которого он предавался им.

И он, являясь домой трезвый, приносил с собою сюда всю тяжесть своего нравственного угнетения и просиживал иногда целые ночи напролет без сна, не ел, не пил и не замечал, как погасал разложенный им в печке огонь, для которого он сам иногда рубил дерево в саду или раскалывал что-нибудь из мебели. Князь сживал в это время, опершись головою на руку, безучастно смотрел перед собою и безучастно следил за пробегавшими в его голове быстрее молнии мыслями.

И теперь, вернувшись из церкви из-под венца, он прошел в свою комнату (какою грязной, какою неприбранной показалась она ему вдруг!) и опустился в большое, давно знакомое, противное и вместе с тем любимое кресло, когда-то обитое кожей, от которой остались теперь одни лоскутья.

Григорий Иванович, дворецкий Олуньевых, объяснил ему причину, в силу которой необходимо было немедленно обвенчать молодую барышню, и мысль отбить невесту у самого брата Бирона, того Бирона, перед которым все и вся трепетало, пришлось по сердцу нищему князю Борису.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.